

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В РОМАНАХ

Михайло  
**СТАРИЩКИЙ**

Руїна

**CF FOLIO**

Історія України в романах

Михайло Старицький  
**Руина**

«Фолио»

**Старицкий М. П.**

Руина / М. П. Старицкий — «Фолио», — (Історія України в романах)

ISBN 978-966-03-4247-7

Роман украинского писателя Михайла Старицкого (1840–1904) «Руина» посвящен наиболее драматичному периоду в истории Украины, когда после смерти Б. Хмельницкого кровавые распри и жестокая борьба за власть буквально разорвали страну на части и по Андрусовскому договору 1667 года она была разделена на Правобережную – в составе Речи Посполитой – и Левобережную – под протекторатом Москвы... В романе действуют гетманы Дорошенко и Самойлович, кошевой казачий атаман Сирко и Иван Мазепа. Бывшие единомышленники, они из-за личных амбиций и нежелания понять друг друга становятся непримиримыми врагами, и именно это, в конечном итоге, явилось главной причиной потери Украиной государственности.

ISBN 978-966-03-4247-7

© Старицкий М. П.

© Фолио

## Содержание

I	5
II	10
III	14
IV	19
V	24
VI	29
VII	33
X	37
XI	41
XII	47
XIII	51
XIV	56
XV	60
XVI	64
XVII	69
XVIII	73
XIX	77
XX	81
Конец ознакомительного фрагмента.	83



# Михайло Старицкий

## Руина. Исторический роман конца XVII века

### I

Много ли времени уплыло со смерти славного гетмана Богдана Хмельницкого, и что случилось с богатой, прекрасной, многолюдной страной? Хищная злоба, исступленная месть да широкая удадь загуляли по волнистым степям, но темным лесам и байракам, по кудрявым «чайкам», укрывавшим в зелени своей веселые хатки, по разбежавшимся в даль синих рек селам и по огражденным мурами и башнями городам, загуляли, запиروвали, разливая кругом «червоное пиво» да освещая свои чудовищные «бенкеты» заревом страшных пожаров, увеселяя свои пиროванья криком терзаемых жертв.

Долго билась Украина, долго металась, как запутавшаяся в силках голубка, и упала измученная, истомленная, захлебнувшись в своей же крови.

И исчезла кипучая жизнь... Обнажились разубранные цветами садочки, поднялись из черных груд мусора и пепла какие-то безобразные скелеты – руины, простирая с ужасом к небу свои обгорелые обломки. Почернели стоптанные копытами ковры нив и лугов, пожелтела пышная шелковая трава и поникла от туги, и укрылась могильным саваном многострадальная родная земля.

Гуляет только буйный ветер по степи, стонет в безлюдных лесах, перешептывается грустно с чайками и плачет, залетевши к седому батьку Днепру, к нависшим над его порогами скалам, плачет и жалобно поведает им о широком кладбище – руине, раскинувшемся безобразным трупом под чудным и ласковым небом, под яркими лучами равнодушного к горю людскому солнца, под мерцанием тихих, задумчивых звезд.

Только волкам – сироманцам вольно теперь и беспечно бродить по этому колоссальному, немому кладбищу, да орлам сизокрылым свободно садиться на высоких курганах, на широких могилах, – никто не потревожит их царственного покоя. Сторожат они с своих вершин великую пустыню и клетотом будят других орлов степи, вольных казаков.

Но спят они непробудно, глубоко!

Не сумели они устроить прочным жильем свою хату и полегли отдохнуть от непосильной борьбы под открытым небом на широком лоне родной земли. И все затихло, все занемело. Просочилась братская кровь к самому сердцу родной земли и запеклась на нем глубоким неизгладимым струпом.

Прошло много лет... И снова ожила безлюдная пустыня... Возвратились рассеянные бурею дети в край печальной руины и разыскали свои старые разоренные гнезда... Стеклись туда и чужие дети...

Заросла густою травой усеянная казацкими костями земля, покрылась она снова бархатом нив, коврами цветов, зелеными тучами кудрявых лесов, и сравнялись с землею распаханые плугом могилы. Но не исчезла бесследно пролитая братская кровь... Взошла она тугою и разлилась печалью – тоскою по всей родной многострадальной земле...

Сумрачное осеннее небо спускалось серой пеленой над неприглядной, пустынной равниной. Низко над землей, гораздо ниже серого неба, медленно ползли длинные клочки разорванных туч; время от времени принимался накрапывать холодный осенний дождик и снова

утихал. От серого неба, бросавшего на все какой-то унылый оттенок, окружавшая местность казалась еще непригляднее, еще пустынное.

Сколько глаза хватало, тянулись до самого горизонта, то опускаясь, то снова поднимаясь, темные равнины диких, заброшенных полей; увядшая, прибитая морозом трава покрывала их каким-то бурым покровом; то там, то сям виднелись полуобнаженные от листьев рощи; на горизонте синела узкая полоса леса.

Все было тихо, безмолвно... ни птицы, ни зверя не видно было кругом. Мертвую тишину, распростершуюся над этой черной равниной, нарушали только тихие стоны ветра, то подымавшего, то снова опускавшего свои усталые крылья.

По узкой дороге, извивавшейся среди этих заброшенных полей, медленно подвигались вперед два всадника. Длинные кереи с нахлобученными на голову шапками почти совсем закрывали их лица. Судя по всклокоченной бороде старшего, можно было заключить, что он принадлежал уже к людям почтенного возраста, спутник же его казался еще совсем мальчишкой, однако быстрые и хитрые глаза его, беспрестанно выглядывавшие из-под нависшего капюшона, свидетельствовали, что, несмотря на его юный возраст, житейский опыт был уже далеко не чужд ему.

Спутники ехали молча; слышно было только глухое чавканье лошадиных копыт, вязнувших в размякшей почве.

– Ну и сторонка! – проворчал наконец старший, плотнее закутываясь в свою керею. – Вот уже с самого утра едем, и хоть бы тебе одна живая душа встретилась.

– Да тут, дядьку, не то что людей, а и зверя не видно, – хоть бы заяц какой перебежал дорогу...

– Тьфу, тьфу! Еще что выдумай, дурню! – Старший поспешно сплюнул трижды на сторону. – Вот еще, наврочить, зайца вспомнил... и так не на свадьбу едем.

Разговор прервался.

– А далеко ли еще, дядьку, до Чигирина? – спросил снова молодой.

– Кто его теперь разберет! Были тут по дороге большие села, а теперь, – сам видел...

– И куда это весь народ подевался?

– Куда! Которые после татарского гостювання живы остались – разбежались, кто – на левый берег, а кто – и в московские степи... Много, много народа бежит теперь туда... вот же целый день едем, а и спросить некого.

– Так мы, может, совсем и не в ту сторону едем?

– Гм... кажется, что так, а все же надо будет расспросить. Помню, была тут прежде по дороге большая корчма, да шут ее знает, уцелела или нет.

Кругом руина... Всадник замолчал и после продолжительной паузы проворчал себе под нос:

– Добре хазяйнует гетман Дорошенко, добре!

Путники погрузились снова в угрюмое молчание.

Окружавшая обстановка не располагала к разговорам. Какое-то жуткое, тоскливое чувство пробуждали в душе всякого эти обширные почерневшие равнины диких, заброшенных полей. Но вот в глубине разложистой балки показались издали перед путниками смутные очертания сожженной деревни.

– Вот он, шлях татарский, – проворчал старший путник, указывая на балку, – виден... не скоро вытрется...

– А может, они еще не ушли, – произнес несмело мальчишка, – так мы того...

– Нет, крымцы с Ханенком ушли назад – это верно, а кто его знает... Может, какая другая орда: ведь они теперь здесь, словно волки в Филипповку, всюду рыщут.

Последнее замечание не придало мальчику большей храбрости.

– Так как бы нам не попасться в пастку, – произнес он, съезжившись и оглядываясь с нескрываемым беспокойством по сторонам, – темнеет...

Старший взглянул на небо.

– Нет, до вечера еще далеко, это насупились тучи; а ты трогай коня... добьемся до какого-нибудь жилья, там расспросим обо всем.

Всадники подобрали поводья, и отдохнувшие лошади побежали доброй рысцой. Несколько холодных капель упало на руки путников; зачастил мелкий осенний дождь.

Так прошло с полчаса.

Но вот, на опушке большого леса, согнувшего полукругом весь горизонт, показалась какая-то темная бесформенная масса, над которой тонкой струйкой расплывался синеватый дымок.

– Стой, стой! – Старший придержал коня и приподнялся в стременах. – Ото, кажется, и есть та самая корчма. Ну, слава Богу, добрались до жилья, там обо всем расспросим, а может, кое-что и разнюхаем... Хе – хе, вино развязывает языки. Ну, сворачивай пока что в чашу, дадим кругу, зато избавимся от неожиданных попутчиков.

Путники свернули в лес и, не удаляясь от опушки его, стали приближаться к корчме. Когда, по – видимому, до корчмы оставалось уже незначительное расстояние, старший приказал остановить коней. Затем он соскочил с коня, сбросил с себя керею и остался в рваном рубище. Видевший всадника, за минуту бодро скакавшего на коне, никак не мог бы признать его в этом жалком нищем. Одежду его покрывали громадные заплаты, из-под дырявой шапки свешивались на лоб космы седовато – рыжеватых волос. Нельзя было бы сказать, что наружность нищего производила благоприятное впечатление; встретившийся с ним с глазу на глаз не преминул бы прочесть и «Верую» и «Отче наш».

– Фу ты, дождь проклятый! – проворчал сердито нищий, старательно стряхивая капли со своей бороды, и затем обратился к мальчику: – Ты же стой здесь да подвяжи лошадям овса, чтобы не заржали, а я пойду разведать.

– Только не засидитесь там, а то ведь здесь...

– Не бойся, не бойся! Скоро вернусь.

Нищий достал из-за пазухи хорошо отточенный нож, вырезал себе толстую суковатую палку и, опираясь на нее, отправился, прихрамывая, по направлению к корчме.

Корчму окружал крепкий забор из толстых дубовых бревен, вверху заостренных; теперь ворота были открыты настежь, так что нищий вошел беспрепятственно во двор. В глубине двора стояла корчма. Это было какое-то большое, бесформенное, рассевшееся здание, чрезвычайно непрезентабельное на вид; желтые немазаные стены его были во многих местах совсем оббиты дождем, почерневшая от времени, растрепанная соломенная крыша напоминала какой-то старый сгнивший гриб, небольшие окна корчмы были затянуты бычачьим пузырем, а во многих местах просто заткнуты тряпками. Однако, несмотря на эту жалкую внешность, в корчме находилось, по – видимому, немало гостей, и гостей не бедных, если судить о их состоянии можно было по лошадям, привязанным у столбов. Отмахиваясь от выскочивших ему навстречу громадных псов, нищий подошел к самой хате и, открывши двери, робко остановился у порога.

В корчме было много народу, но среди собравшихся не видно было ни мещан, ни крестьян, – все это были казаки. Казаки держались двумя отдельными группами, несколько запорожцев, с закрученными за уши гигантскими оселедцами, сидели также за отдельным столом. Между казаками шел оживленный разговор, так что на нищего, робко остановившегося в дверях, никто не обратил внимания, но это несколько не огорчило его. Снявши шапку и застывши в просительной позе, он принялся внимательно рассматривать присутствующих.

За длинным столом направо помещалась группа казаков душ в десять. Во главе их сидел довольно плотный седой казак, с чрезвычайно живыми, насмешливыми глазами, – очевидно, это был старший, так как остальные величали его паном сотником. Одежды казаков были

забрызганы грязью, видно было, что они ехали откуда-то издалека. За противоположным столом сидело также душ восемь казаков, все они группировались вокруг еще не старого казака с тонкими, сухими чертами лица и смуглым цветом кожи; на нем была дорогая одежда, за поясом торчали великолепные пистолеты, украшенные серебряной насечкой, а у пояса висела загнутая сабля в богатых ножнах. По – видимому, он угощал своих товарищей, и угощал щедро.

Запорожцы пировали за отдельным столом; лица их были возбуждены, жупаны распахнуты, видно было, что товарищество уже подгуляло. Жидовка с наймычкой хлопотали за прилавком; дрожащий и от радости, и от страха перед своими щедрыми, но и страшными гостями, жид беспрерывно шнырял то туда, то сюда, наполняя пустые кубки, исполняя приказания своих гостей; особенно увивался он вокруг запорожцев.

Дым, подымавшийся из казацких люлек, застилал весь потолок корчмы какой-то синеватой колеблющейся пеленой.

– Ну, жиде, иди теперь сюда! – закричал один из запорожцев, смуглый, широкоплечий, с пересеченной губой.

Жид вздрогнул, съежился и в два прыжка очутился возле запорожца.

– Что скажешь, ясный пан лыцарь? – произнес он, изображая на своем перепуганном лице самую подобострастную улыбку.

– Скажи нам, кто у вас теперь тут на правом берегу гетманует?

Жид невольно обернулся направо и поспешил ответить:

– Кто? Звестно – его милость ясновельможный гетман Дорошенко.

– А гетман Ханенко?

Жид торопливо закивал украшенной длинными пейсами головой.

– Так, так! И его милость гетман Ханенко!

– А брешешь же ты, собака! – раздался голос с правого стола. – Простыл уже и след его!

Жид вздрогнул и еще торопливее закивал головой.

– Брешу, брешу, ей – богу, брешу! – подхватил он поспешно. – Они что-то посердились немножко и ушли себе в Крым.

– Вернется! – раздалось с левой стороны.

– Ну, а Суховеенко? – продолжал допрашивать запорожец.

– И его милость пан Суховеенко гетман!

– Так что же это у тебя, – что ни поп, то батька? За кого ж ты сам стоишь: за Дорошенка или за Ханенка, а может, еще за Суховеенка?

При этом вопросе жид побледнел, взгляд его метнулся в одну сторону, в другую, фигура съежилась еще больше.

– Ну, что я, что я! – заговорил он торопливо и подобострастно. – Что могу я знать, бедный жидок? Я все равно, что самая маленькая травка: куда ветер веет, туда и она гнется.

– Го-го! – рассмеялся запорожец. – Значит: «Цыгане, цыгане, какой ты веры?» – «А якой тоби, пане, треба?»

– Ой, вей, ясновельможный пане! На чьем возе едешь, того и писню спивай!

– Видно, все у вас тут такой думки? – заметил громко запорожец.

– Хе! Бабий! Забыли свою вольную волю! Попыхачами стали! – подхватили его товарищи.

– Не волю, а сваволю, – отозвался седой казак с правого стола.

– Не вмер Данило, болячка вдавила! – воскликнул с хохотом запорожец. – Гей, жиде, татси вина сюда! Выпьем, панове, за здоровье наших городовых казаков, чтобы им ярма шеи не мулили.

Обрадованный прекращением щекотливого разговора, жид бросился со всех ног исполнять приказание запорожца и наткнулся на нищего, стоявшего у дверей.



– Пс! пс! Герш ду! – зашептал он, бросаясь к нему. – Чего пришел? Ты не видишь разве, что вельможное панство гуляет? Ну, ну, иди себе!

С этими словами он ухватил нищего за плечи и хотел было вытолкнуть его из корчмы, но нищий не думал уходить.

– На Бога, на Матерь Пресвятую, дозвоьте хоть согреться несчастному... Второй уже день и риски во рту не было, – застонал он самым жалобным тоном, низко кланяясь и протягивая свою рваную шапку.

– Ну, ну, годи! Ступай себе, откуда пришел! – продолжал его выпихивать жид; но причитания нищего услышали казаки.

– Оставь его, чего толкаешь доброго христианина! – заметил жиду седой сотник, сидевший за правым столом. – Иди сюда, старче Божий, на, выпей келех меду!

Нищий подошел к столу и, охвативши дрожащими руками оловянную кружку, жадно прижался к ней губами.

– Куда идешь?

– Ох, хотел было к Чигирину добиться, а теперь и не разберу, куда попал.

– На верный шлях, это самая к Чигирину дорога. А откуда сам?

– Издалека. – Нищий поставил на стол кружку, отер губы полой и низко поклонился казаку. – Дай тебе, Боже, здоровья, ясный пане, измучился совсем, с ног сбился все по пущам да по яругам.

Казак полез в кешеню и, доставши оттуда серебряную монету; бросил ее в шапку нищему. Нищий поспешно спрятал за пазуху полученную монету и кинулся целовать руку щедрому казаку.

## II

– Помяни, Господи, родителей твоих милосердных, пошли тебе, Мать Пресвятая, и счастья, и многолетия, и деточек, – низко кланяясь сотнику, заговорил нищий.

– Ну, за это добро не подякую, старче, – улыбнулся сотник, – не те теперь часы.

– Отчего же? Теперь как раз гетману Дорошенко казаки надобны, – заметил насмешливо богато одетый казак с левой стороны.

– Хватит с него казаков, чтобы всех закутных гетманишек в Крым позагонять, – бросил небрежно седой сотник и, повернувшись к нищему, продолжал расспрашивать: – А ты чего, старче, в Чигирин идешь?

– И сам не знаю... И собаке одной здыхать не хочется, на людях все как-то легче, руина кругом, народ бежит отовсюду... Ох, ох! – нищий жалобно заплакал.

– Так, так, стараются братья, – произнес как-то особенно значительно сотник, – наводят татар да руйную родную землю.

– Э-эх, вижу я, что у тебя порожняя шапка, диду! – заметил, оскаливши зубы, запорожец с рассеченной губой. – И чего тебе на руину нарекать? Теперь есть у вас такая оборона, что ну!

Нищий с изумлением взглянул на запорожца.

– Ха-ха! Смотрите, дивится, словно теля на новые ворота.

– Да разве ты не знаешь, что гетман вас всех турецкому султану отдал?

– Ох, Боже наш, ой, Господи! И не грех тебе, пане, смеяться над бедным стариком! Да ведь такого бы греха и Господь бы не потерпел! – воскликнул в ужасе нищий.

– Верно, верно, говорю тебе! Иди в Цареград, там теперь есть у вас родный батько, султан турецкий, он вас всех, как своих родных басурман, под крыло свое примет.

– Может, твой там батько, а то и matka остались, – огрызнулся седой сотник, – а наш батько всегда был и будет славный гетман Петр Дорошенко.

– Хе – хе, – продолжал запорожец, – да ведь он же и продал Украину басурманам, поклонился султану всей отчизной нашей.

– Пусть бы там кто-нибудь твоей головой куцему дядьку поклонился, как гетман ударил Украиной султану.

– Как не ударил? А разве не прислал султан гетману и туй, и санджан?<sup>1</sup>

– Это еще были гостинцы за обручение, то ли будет на свадьбе! – заметил насмешливо смуглый казак с левой стороны.

– Перепадет, думаю, боярам, – добавил другой.

– Что боярам, то еще посмотрим, а что уже пидбрехачи заробят, так это верно! – вспыхнул седой сотник.

– Напрасно стараешься, пане сотнику! Шила в мешке не утаишь, а турецкой булавы найпаче! – осклабил широкоплечий запорожец. – Думаешь, что никто не знает о том, что гетман отдал Украину в подданство царю басурманскому?

– А я говорю, что это брехня! – крикнул седой сотник и стукнул по столу кулаком с такой силой, что стаканы зазвенели и попадали.

– Как? Разве не было у вас рады с султаном? Разве не посылали послов в Цареград? – раздались возгласы с разных сторон.

– Была рада, посылали послов в Цареград, а только не поддались мы султану, а дружеский мир с ним заключили, чтобы бороться от татар. Разумный хозяин всегда со своими соседями в доброй злагоде живет. Для блага отчизны, для блага Украины и вошел гетман в

---

<sup>1</sup> Военные знамена.

згodu с султаном. Не задавал он нас в турецкую неволю и не задаст, он за волю своей отчизны всю жизнь стоит.

– А вечное гетманство себе у турок выправляет! – вставил язвительно смуглый казак с левой стороны.

– Пусть отсохнет язык у того навеки, кто говорит на гетмана такие слова! – вскрикнул запальчиво седой сотник. – Да если бы гетман только за свое гетманство, да за свои кешени дбал, так не сидел бы теперь Многогрешный на левой стороне. Да и теперь, невзирая на это, готов гетман свою булаву отдать, лишь бы Украина под одной рукою была. «Вошел в згodu с султаном», – вот что им глаз ест; да ведь через вас же и должен был он это сделать. Вы же да разные закутные гетманишки и довели его до этого!

Все в корчме зашевелились, разговор начинал принимать острый характер; со стороны казаков, сидевших за другим столом, слышались весьма недружелюбные замечания. Нищий поспешно отступил в сторону и притаился возле дверей.

– Го-го! – осклабился запорожец, поворачиваясь к сотнику. – Любопытно послушать, панове! Кто кислицы поив, а на кого оскома напала!

– Так, так! Кислицы вы поели, а оскома то на нас да на наш бедный люд напала! – продолжал с воодушевлением седой сотник. – Припомните все, если вам горилка еще память не отшибла, когда погиб Бруховецкий и вся Украина обрала единого гетмана на обе стороны Днепра – Петра Дорошенко, – не вы ли обрали своевольно нового гетмана Суховеевка и выступили с ним, да еще с исконными врагами нашими – татарами, чтобы разорять родную землю! А теперь, когда Дорошенко поборол Суховеевка, вы теперь за Ханенком идете, опять наводите татар, опять разоряете родной край!

– Да гетман твой сам ушел от войска!

– Поскакал в Чигирин жинку стеречь! – раздались насмешливые восклицания с противоположного конца.

– Бабий! Нам таких гетманов не надобно! – подхватили запорожцы.

– Вам не надобно! Так потому, что вам его не надобно, вы заводите смуты и свары, выводят нового гетмана! Да если каждая купа будет за своего гетмана стоять, так в руину повернете весь край!

– Так что же, мы должны по вашей дудке плясать? В послушании у вас ходить? Сколько Украина стоит – всегда Запорожье гетмана обирало! – закричали запорожцы.

– Да ведь вы же вместе со всеми после смерти Бруховецкого гетманом Дорошенко обрали!

– Обрали, а теперь он нам не угоден.

– Да ведь за Дорошенко вся Украина?

– А хоть бы и вся Польша с Турцией в придачу. Мы не хотим его, и никто нас не заставит ему поддаться. Мы идем, за свою волю стоим!

– Не за волю, а за сваволю. Эх, поплачетесь вы на нее, да еще и горько! Заведет она не только вас, а и весь край наш к полякам в неволю!

– Го-го! – запорожец отвортил рукав, обнажил мускулистую волосатую руку и произнес медленно, потрясая своим кулаком: – Не родился еще тот человек, чтобы накинуд на нас узду!

– Никто над нами еще не был паном. Не будут ни у кого запорожцы в подданстве! – раздались гневные возгласы среди его товарищей.

– Тешьтесь, тешьтесь! – продолжал с горечью сотник. – А смерть уже не за горами, а за плечами! Оглянитесь-ка на пивночь. В такую минуту, когда Польша скалит опять на нас зубы, когда татары огненными шляхами прорезывают всю грудь несчастной отчизны, вы еще заводите междоусобные войны. За Ханенком идете, наводите татар, проливаете христианскую, братскую кровь!

– Не мы наводим, а гетман твой. Зачем он призвал Белгородскую орду?

– Потому что надо было защищать свою землю!

– А нечего было и защищать! Надо было сдавать гетманство! – закричал смуглый казак с левого стола.

Седой сотник порывисто вскочил с места.

– Кому? Всякому собаке? Кто за Ханенка? За Ханенка басурмане стоят, татаре его гетманом выбрали! Да еще не было над нами до сих пор такого сорому, чтобы татаре своих гетманов на Украине ставили!

– Не татаре, а сами казаки его вольными голосами на Уманской раде обрали! – закричали с левой стороны.

– Знаем мы эти вольные рады: подпоил свавольную купу, зазвал татар, вот гетман и идет, и плондрует родной край!

– Не плондровать идет Ханенко, а рятовать! Он поклялся на раде за вольности казацкие стоять, заплаканной отчизне очи утереть.

– Ха – ха! Утрет он ей нос, не то что! Дорошенко – наш родной батько! Он за вольности всего народа стоит! – закричали с правой стороны.

– Богомильный на чужу кешеню! Продаст то, чего еще не купил! – отвечали им насмешливые возгласы слева.

– А ваш Ханенко только о вольностях старшины печется.

– Брехня, брехня!

– Кто за Ханенка! За Ханенка татаре, – продолжал седой сотник, – а за Дорошенко – вся Правобережная Украина, а на левой стороне Лубенский, Полтавский, Миргородский полки, Черкасский, Каневский! Так должны мы, что ли, вашей татарской раде подчиняться?

– Не татарской – казацкой! – закричал в свою очередь смуглый казак, защитник Ханенка. – Хвалитесь своими левобережными полками. За Ханенко и Уманский, и Кольницкий, и Паволоцкий, и Корсунский полки.

– Так почему же ваш Ханенко, когда за ним столько полков стоит, не прибыл на раду в Чигирин, куда звал его Дорошенко и все казаки, чтобы без братского кровопролития вольными голосами постановить, кому быть на Украине гетманом: Дорошенку или ему? Небось побоялся? Поджал хвост, как тхор, да и на Запорожье ушел.

– Как выюн сквозь вершу проскользнул! Сидит себе там теперь, как черт в горах! Его и не достанешь! – закричали окружавшие сотника казаки.

– Постойте! Придет он опять, скорее, чем вы думаете!

– Ну, и пусть приходит, мы ему поднесем доброго гостинца!

– Не кажите гоп, пока не перескочете! – воскликнул смуглый казак. – Вот только Покажется Ханенко на Украине, как все ваши полки поотпадают.

– Поломали мы Суховеевковы лук да стрелы, изломаем и Ханенковы!

– Вы лучше кресты на святых церквах ломайте да несите их вашему пану, турецкому султану!

– Крестов-то мы ломать не станем, а что не зарекаемся – и самому Ханенку, и всем его прыхильцам ребра поломаем, – это верно!

При этих словах казаки повскакивали с мест; лавки, столы, кубки и кухли с грохотом покатались на пол. Разогретые вином лица вспыхнули. Многие схватились за сабли. Перепуганные насмерть жид и жиловка забились в самый дальний угол.

– Да покуда ты ханенковцам поломаешь ребра, так мы вам языки поодтынаем! – закричал смуглый казак, вскакивая с места и потрясая саблей.

Лицо пана сотника побагровело, в одно мгновение он вырвал из ножен свою саблю.

– Го-го! А ну-ка! Вынимай саблю, посмотрю я, так ли она у тебя, как и голова, за ветром хилится!

– На погибель псам, зрадникам! – закричали окружавшие его казаки.

– Смерть басурманщикам, турецким подданным! – отвечали им бурные возгласы с левой стороны.

Казаки вырвали сабли и ринулись друг на друга. Все полетело кругом; началась ужасная свалка.

При первых звуках сабельных ударов нищий выскользнул из двери и бросился к лесу. Добравшись до чащи, в которой скрывался его товарищ, он поспешно вскочил на коня и произнес отрывисто:

– Трогай, держи на дорогу... самый шлях к Чигирину.

Всадники повернули и выскочили из чащи, поскакали по прямой дороге.

– Ну, что? Чей верх? – спросил молодой, когда они уже значительно удалились от корчмы.

– Да, тут такое, что и сам черт ногу сломает! Одни за Дорошенко, другие за Ханенко, а то и за Суховеенко. Мутная вода, мутная... А в мутной воде не трудно рыбину поймать! Ну, трогай, трогай! Покуда они себе там кровь пустят, мы далеко ускорим вперед.

Всадники подобрали поводья и подняли лошадей в галоп.

Дождь перестал, сумерки стужались, серый покров спускался над землей. Время от времени до слуха путников доносились унылые стоны ветра. Казалось, само небо вздыхало, глядя на эту опустошенную равнину. Все было тихо, безмолвно кругом. Как вдруг раздался протяжный звук пушечного выстрела. Всадники невольно осадили коней и прислушались. Звук донесся издали и замер где-то, словно расплылся в этой серой сырой полутьме.

– Гармата? – прошептал мальчик, прислушиваясь к всколыхнувшему серый сумрак звуку.

– Гармата.

– Что же это, битва?

– Нет, это обывателям знак подают, чтобы спешили в города, в осаду... Видно, опять показалась орда, а может, Ханенко со своими полками. Ну и сторона! Здесь покуда чужие делишки обделаешь, так тебе всю шкуру так полатают, что и на ремень не останется! Сворачивай опять в лес. Так-то безопаснее будет.

Всадники повернули коней и быстро поскакали к темной полосе обнаженного леса.

Через несколько минут на дороге не видно было уже ни одной человеческой фигуры. Серый сумрак спускался ниже и ниже на землю, он словно окутывал ее всю своей влажной, тяжелой пеленой. Ни один звук человеческого голоса не нарушал этой мертвой тишины.

Кругом было тихо, мрачно, безмолвно.

Только отдаленный протяжный рев пушки потрясал каким-то зловещим призывом безмолвный воздух и словно расплывался в этой серой полутьме.

### III

Дождь шел несколько дней подряд, мелкий, холодный, осенний. Наконец и самой природе наскучила, казалось, эта серая, сырая мгла, безнадежно затянувшая весь небосклон. Настал ясный осенний денек. Уже с самого утра сквозь легкие, как дым, пряди облаков выглянула яркая лазурь; к полдню же и эти прозрачные пряди растаяли, расплылись, и на чистом голубом небе заблестало ласковое осеннее солнце. Золотые лучи его рассыпались и по багровым рощам, и по залитым лужами дорогам, и по обнаженным полям; они проникли всюду, даже и в сердца людские, истомленные и удрученные долгим созерцанием угрюмого неба, нависшего над ними тяжелой сплошной пеленой.

В одном из маленьких домиков, находившихся в верхнем городе Чигирине и предназначенных для жительства казакам надворной гетманской команды, весело хлопотала у печи красивая молодая женщина в кораблике (красный бархатный головной убор, вроде кокошника). С лица ее не сходила радостная улыбка, да и все в этой чистой светличке, казалось, радовалось, сияло и улыбалось. Солнечные лучи, врываясь золотыми снопами в небольшие окна, составленные из мелких стеклышек, играли и на чистом полу хаты, и на белых как снег стенах, и на покрытых красным сукном лавках, и на ярко вычищенной оловянной и серебряной посуде, расставленной на дубовых полках, и на красивом лице молодого, статного казака, сидевшего у стола, застланного узорчатой скатертью. По всему видно было, что в этом милом уголке поселился еще один незаметный жилец – счастье. Оно покрывало все словно тонкой золотистой паутиной и придавало всему такой радостный праздничный вид.

– А что ж, жинко, готов борщ? – обратился к молодичке казак, с улыбкой следя за всеми ее движениями.

– Да вот зараз! Ух, да и тяжелый же горшок, никак не вытащу! – молодая женщина налегла на хват и потянула его из печи. От усилия по лицу ее разлился яркий румянец.

Казак поспешно вскочил с места.

– Орыся! Да ты бы мне лучше сказала достать, а то смотри, если случится что, – я ведь не подякую!

Личико молодой женщины вспыхнуло еще больше, она бросила стыдливый взгляд на свою слегка округлившуюся фигуру.

– Ну, вот, еще при людях скажи такое, только осоромить меня.

– А чего же мне не сказать и при людях? Скажу и при всех, что моя жиночка – молодец, что она меня любит, жалуется! – казак подошел к молодой женщине и, нежно обвив ее рукою за талию, прошептал над самым ее ухом: – Что она скоро подарует мне сыночка!

– Да ну, пусти! Годи! – слабо отбивалась Орыся.

– Не пущу! Не пущу! – повторял со смехом казак, продолжая целовать ее покрасневшие щеки.

– И не надоело до сих пор?

– Никогда не обрыднет!

– Так и поверила!

– Заставлю поверить! – и казак еще крепче прижал к себе Орысю.

Кораблик с головы Орыси сбился на сторону; пряди черных волнистых волос выбились из-под него и рассыпались по лбу.

– Да пусти же, ой, пусти! – повторяла она со смехом, вырываясь от казака, но казак не унимался. – Да пусти же, Остапе! Борщ простынет! – вскрикнула она наконец и, вырвавшись из объятий казака, отбежала в другую сторону светлицы.

– У, व्यон! – засмеялся казак и погрозил ей пальцем. – Ну, счастье твое, что борщ готов, а то бы не скоро ты вырвалась от меня!



Он отер свое покрасневшееся лицо, оправил чуприну и уселся за стол.

Оглядываясь лукаво на мужа, Орыся осторожно подошла к печи, вылила в миску дымящийся ароматный борщ и поставила его перед Остапом; затем она нарезала хлеба, вынула из печи горшок каши, подсунула к нему мисочку гусиного салца, подала ложки и приготовила все к обеду. Казак следил за всеми ее движениями ласковым, любящим взглядом.

– Ну, садись же и ты, голубка, – удержал он ее наконец за руку, – довольно хозяйничать! Не бойся, больше уже целовать не буду.

Орыся надула задорливо губки.

– Ну, с тобой не след было бы и садиться, – произнесла она, опускаясь рядом с Остапом на лавку, – смотри, как измял кораблик, а ведь это подарок пана Мазепы, – я его берегу.

– Не велика беда, купит он тебе новый.

– Эге, купит! Пускай же раньше еще приедет.

– Да он и приехал еще вчера.

– Вчера?! – Орыся всплеснула руками и даже подскочила на лавке. – Вчера приехал, и ты мне до сих пор ни слова про то! Ах ты, Господи, да как же ты мне еще вчера этого не сказал?

– Прости, голубка, ей – ей, забыл! Шел вчера домой, все думал, чтобы сказать тебе, а как увидел тебя, так все на свете и забыл.

Лицо молодой женщины озарилось счастливой улыбкой.

– Ну, ну! – погрозила она казаку пальцем. – Не подлещуйся. Когда бы не такой случай, не простила бы тебе этого никогда. Рассказывай же скорее, что, как?

Она пододвинулась к мужу и устремила на него горящий любопытством взгляд.

– Ты это о чем? – спросил с улыбкой казак, любясь ее нетерпением.

– Еще и представляется, будто не знает! Мазепа один вернулся или...

– Нет, говорят все, что один.

Из груди молодой женщины вырвался глубокий вздох, веселая улыбка сбежала с ее лица.

– Да и напрасно он ищет, – проговорила она грустно, – уж если вы там и все скелеты их нашли, так чего же больше?... С того света не возвращаются.

– Нет, голубка, не то. Видишь ли, тогда мы сгоряча одного не сообразили с паном Мазепой, что ведь и из напастников могло остаться два, даже три трупа на месте. Ведь старый Сыч саблей орудовал еще не хуже другого, молодого, да и Нимота... Ведь они, наверное, защищались? Живыми в руки не дали, уложили же хоть одного, двух напастников. Опять и то пришло нам в голову: зачем бы татарам убивать Галину? Ведь она для них дорогой товар, они бы ее даром не утеряти, еще б и сторожей поставили, чтоб не сделала себе чего.

– Ох, ох! Правда, правда! – Орыся печально закивала головой. – Бедная она, моя горличка, так по ее личику и видно было, что не ей судила доля счастье! Все такая печальная да задумчивая была... Ну, да ведь там Мазепа ее нигде в Крыму не нашел, а ведь как искал!

– Могли и в Турцию продать.

– Ох, верно, верно!

– Ну, вот, теперь же он из Турции вернулся: его гетман туда по войсковым справкам посылал.

– И что же, что?

– Да бог его знает что, – я его еще и не видел: с самого утра гетман его к себе призвал да и держит вот до сих пор. Я думал сейчас после обеда сходить расспросить, как и что...

– Вот и горазд! – воскликнула радостно Орыся. – Так ешь же, ешь скорее да иди и смотри – не мешкай! Как только узнаешь все, сейчас же ко мне.

И Орыся принялась поспешно угощать мужа, веселая улыбка улетела с ее лица. Время от времени она повторяла снова: «Ах, бедная моя! Ох, несчастная!» И за каждым таким восклицанием она еще нежнее прижималась к мужу, словно мысль о чужом горе заставляла ее еще больше ценить свое счастье.

Наконец обед был окончен.

Остап поднялся с места, перекрестился три раза на образа и, подойдя к Орысе, крепко обнял ее.

– Ну, спасибо ж тебе, моя жиночка любая! А теперь я пойду.

– Иди, иди, да скорее возвращайся.

– Не загаюсь. Будь здорова.

– Бывай здоров!

Казак взял шапку и вышел в сени, Орыся последовала за ним. Приотворив надворные двери, он снова обратился к стоявшей за ним жене и, крепко обняв ее, поцеловал долгим, горячим поцелуем.

Орыся остановилась на пороге, следя влажным взглядом за удаляющейся фигурой мужа. Очарование его поцелуя еще не слетело с нее; она словно застыла у дверей с мечтательно устремленным вдаль взором, с легкой улыбкой, бродившей вокруг полуоткрытых губ. Смутные мечты счастья сновали, словно золотые нити, перед ее глазами, а из глубины сердца подымалось что-то такое теплое, такое жгучее, что заставляло приливать еще горячее кровь к ее смуглым щекам. Даже мысль о чужом горе не могла омрачить дивного состояния ее души. Как легкое облачко, скользящее в ясный солнечный день по светлой лазури, на минуту бросает тень, затмевает солнце и снова уносится дальше и от его минутной тени яркий блеск солнечного дня становится еще горячее, так и мысль о чужом горе не могла вполне овладеть Орысей; думка скользила лишь мимо и заставляла Орысю еще сильнее чувствовать свое собственное безоблачное счастье. Несколько минут стояла так Орыся, греясь на солнышке. Она не видела ни людей, проходивших мимо, не слышала звуков жизни, раздававшихся кругом. Как вдруг громкое причитыванье, раздавшееся совсем близко подле нее, заставило ее очнуться.

Орыся вздрогнула и повернулась в ту сторону, откуда доносилось это громкое причитыванье.

К ней подходил, опираясь на руку мальчишки – поводыря, какой-то нищий или монах; это трудно было разобрать: на нем была длинная монашеская одежда, но такая изорванная, такая заплатанная, что сердце молодой женщины невольно сжалось от сожаления к этому бедняку. Сребристо – рыжеватая борода и волосы монаха были всклокочены, темные глаза смотрели утомленно, тощее тело его сгибалось от усталости, – видно было, что нищий едва тащил ноги, и, если бы не рука его проводника, да не толстая суковатая палка, на которую он опирался другой рукой, – он, вероятно, свалился бы прямо на дорогу.

– Ради Господа, ради Христа, Царя небесного, люди благочестивые, хоть кусочек хлеба, третий день крошки в рот не брали! – застонал он жалобно, останавливаясь перед Орысей.

Но Орыся не нуждалась в этих уверениях.

– Заходите, заходите, панотче, – заговорила она приветливо, распахивая перед монахом двери, – заходите, подкрепитесь, чем Бог послал.

– Да благословит тебя Господь милосердный, да пошлет он тебе счастья и долголетия, и в детях радости!

При последнем пожелании монаха щеки Орыси покрылись легким румянцем.

– Заходите же, заходите! – повторила она, смущенно отворачиваясь в сторону.

Нищий вошел в сени вслед за нею, а оттуда – в хату. Он поставил в угол палку, снял с плеча котомку и положил ее на пол, а сам скромно уселся у двери на самом кончике лавы; мальчик же остался стоять у дверей.

– Нет, нет! Сюда садитесь, на покути, панотче, – запротестовала Орыся, отодвигая от стола лавку. – Да и поводарь ваш пусть тоже сюда садится. Сейчас налью борщу, еще не остыл. Мы только отобедали, – говоря все это, Орыся весело хлопотала; она нарезала хлеба, налила в миску борщу, поставила оставшуюся кашу и усадила наконец за стол нищего монаха и его

поводаря. – Ешьте, ешьте на здоровычко, – произнесла она кланаясь и остановилась подле стола, подперши щеку рукой.

Монах и его проводник принялись хлебать борщ с таким аппетитом, какой ясно доказывал правоту их слов. После борща последовала еще каша, вареники. Орыся рада была угостить, чем могла, Божьего человека, а кроме того, ей было приятно и поболтать с ним: по всему было видно, что этот странник мог рассказать ей много интересного, а она порядочно скучала в Чигирине, так как муж ее был постоянно занят.

Пообедав, монах поднялся с места, прошептал молитву и хотел было занять свое скромное место у двери, но Орыся удержала его.

– Сидите, сидите, панотче, отдохните... Видно, из далекой дороги идете?

– Ох, из далекой, из далекой, дочко! Был в Цареграде, был в Иерусалиме, а теперь в Киев, в святыя Печеры иду.

– И в Иерусалиме! – воскликнула с изумлением Орыся, присаживаясь к столу. – А это далеко от нас?

– Так далеко, что и не сосчитаешь, дочко. Ох, не многие добираются туда. Надо пять степеней перейти, пять морей переплыть!

– Ой Боженьки!

– И не всякий корабль те моря переплывет.

– Отчего?

– Оттого, чадо, что плавают в тех морях страшные драконы.

– Драконы?!

– Сиречь змии лютые с семью головами и семью хвостами.

– Ох, мени лышенько! – всплеснула руками Орыся. – Ну, а как же они вас не тронули?

– Не тронули потому, что есть у меня такое зелье, что от всякого несчастья охраняет. Против этого зелья нечистая сила ничего не поделает, и ни пуля, ни сабля того не возьмет, кто это зелье при себе имеет. Я и тебе, чадо, уделю толику за то, что ты меня, сираго, накормила. Надо его только в ладонку зашить да на шее носить.

С этими словами нищий снял с шеи маленький мешочек, развязал его, достал оттуда два тоненьких стебелька и отдал их Орысе. Орыся вся вспыхнула от радости. Господи! Да ведь теперь она не будет бояться за своего Остапа никогда, никогда! Она зашьет ему оба стебелька в ладонку, оба... оба! Себе не оставит, ей не нужно... Орыся бережно спрятала полученную драгоценность и принялась горячо благодарить старика.

На столе появился и жбан холодного пива, и маковники, приготовленные Орысей. Орыся от души угощала монаха, а монах рассказывал ей о таких диковинах, неслыханных вещах, что все личко и глаза у Орыси разгорелись, и хотелось ей все слушать да слушать этого словоохотливого старика без конца. Время летело незаметно; через полчаса Орысе казалось уже, что она знакома с этим монахом с незапамятных времен. Ей было необычайно весело и легко с ним. Кроме всего, она получила от монаха еще несколько ценных подарков: змеинный зуб, предохранявший от лихорадки, щепотку песку из Вифлеема, камушек из Иерусалимского храма.

– Ох, ох! – заключил свои рассказы монах глубоким вздохом, – всюду говорят, беда грядет. У одного схимника в Печерах все буквы в книге кровью налились, войну, негоды все прокоуют. В Польше у одного жида, говорят, антихрист родился.

– Ох ты, Боже наш! – вскрикнула Орыся и побледнела.

– Так, так, дочка! Кругом беда. Вот шел я к Чигирину – руина, кладбище, пустыня кругом, брат на брата встал, родною кровью родную землю залили, одни пожарища, ни души живой, – не у кого было куска хлеба попросить. Когда бы нам не послал Господь тебя, так и не знаю, дожили бы до завтрашнего дня. Даруй тебе, Господи, за это спасение и всякое благополучие.

– Что там, отче? – перебила его смущенная благодарностью Орыся.

– Видишь ли, дочка, мы брели сюда к Чигирину, хотели гетманшу повидать, всегда она нас богато одаривала и на храмы Жертвовала, а теперь только спросили о ней, так нас чуть в шею не выгнали. Умерла, должно быть?

– Нет.

– Так что же? Может, болезнь какая приключилась, так я бы молитву сотворил.

– Да нет, здорова она.

– Так что же случилось? Отчего не допускают к ней?

– А потому, что ее нет здесь. – Орыся замялась и прибавила нерешительно: – Она в монастыре.

На лице монаха отразилось неподдельное изумление.

## IV

– Как! Гетманша в монастыре?! – воскликнул странник. – Да что же ее заставило в монастырь уйти? Господи! Такая молодая да хорошая, ей бы только жить и радоваться, да и гетман любил ее без души.

Орыся досадливо махнула рукою.

– Я доподлинно не знаю, с чего она в монастырь ушла, а говорят люди такое, что не гораздо и повторять.

– Ох, ох, голубка! – вздохнул нищий и закивал головою. – Людям не верь! Чего только люди не набрешут. А за гетманшу грех и дурное слово сказать, Божья душа, Божья душа! – и нищий рассыпался в похвале гетманше.

Орыся с досадою слушала эти расточаемые нищим похвалы. Она знала причину удаления гетманши в монастырь и, хотя не видала самой гетманши в лицо, но и по слухам была сильно вооружена против нее, а потому ей было чрезвычайно досадно слушать восхваления нищего и хотелось сказать ему, что все это совсем не так, что гетманша далеко не святая и не Божья душа, что она только прикидывалась святой, а на самом деле грешила еще хуже других грешниц; ей хотелось рассказать монаху об истинной причине удаления гетманши в монастырь, но вместе с тем какой-то внутренний голос шептал ей, что этого не следует говорить.

А между тем нищий, словно подраживая Орысю, все усиливал и усиливал свои похвалы.

Досада охватывала Орысю. Словно какой-то буравчик забуравил у нее в сердце. И почему она, в самом деле, должна скрывать проделки этой женщины? Через нее столько несчастий произошло, а ее еще и покрывать все должны! Нет, пусть же хоть святою ее не считают. И Орыся произнесла вслух:

– Эх панотче, панотче! Не все то золото, что блестит!

Монах устремил на нее полный изумления взгляд. Это изумление подзадорило Орысю еще больше.

– Вот вы думаете, – продолжала она, – что гетманша спастись в монастырь ушла, а я скажу вам, что и не сама она ушла, – ей, я думаю, в монастырь так же хотелось, как мне в пекло, а услал ее силою гетман.

– Гетман?

– Да, гетман! Были такие дела.

Еще с минуту Орыся боролась с желанием рассказать решительно все, но устремленный на нее недоверчивый взгляд странника окончательно заставил ее решиться, и, понизив голос, Орыся передала монаху все: что гетман «надел на гетманшу черную рясу» за то, что она изменила ему и что причиной этой измены был какой-то полковник с левой стороны Днепра, что гетман, узнав об этой измене, чуть с ума не сошел, хотел было убить гетманшу, да передумал, услал ее в монастырь, а сам теперь до сих пор нигде себе места не найдет.

Странник слушал рассказ Орыси с живейшим любопытством, поминутно вставляя свои замечания, вопросы, восклицания.

– Ну, и где же она теперь, в каком монастыре? – спросил он, когда Орыся наконец остановилась.

– В каком монастыре? – Орыся замялась, она, собственно, знала, где находилась гетманша, так как Остап ездил туда часто, по поручениям гетмана, но не знала, можно ли об этом говорить или нет?

– Должно быть, близко где-нибудь, – продолжал странник, – о, гетман далеко не отошлет... А жаль! За такой вчынок надо было бы положить тяжелое послушание для спасения грешной души.

Орыся молчала, а странник продолжал дальше:

– Жаль, жаль, что гетман так слаб душой, а строгое монастырское житие исправило бы ее и привело бы на путь истинный. Да только гетман никогда на это не решится.

Орыся не выдержала.

– Э, нет! – произнесла она оживленно. – На этот раз пан гетман большую строгость над ней показал, далеко ее услад, аж в Лебединский монастырь, и, говорят все, до конца веку там ее держать будет.

– Вот это-то и хорошо, это и хорошо! – вскрикнул поспешно странник. – Так, может, Господь и исправит ее.

В это время с улицы донесся какой-то шум. Орыся и странник повернулись к окну и увидели, что по улице проходила шумная компания казаков. Посреди толпы шел стройный молодой казак с красивым, но строгим, серьезным лицом. Появление его и вызвало, очевидно, такое оживление, так как при виде его со всех сторон к нему спешили новые казаки.

– А это кто такой, посол какой-нибудь или важный шляхтич? – заинтересовался монах.

– Нет, это пан Мазепа, наш генеральный писарь.

– Такой молодой? Видно, голова?

– О, первая на всю Украину! – вскрикнула с восторгом Орыся.

– А какой строгий да сумный.

– Э, он таким прежде не был, это с ним несчастье приключилось.

– Несчастье? – странник остановил изумленный взор на Орысе.

– Да, несчастье, – продолжала она, – у него невесту украли татаре.

– Ох ты, Господи! Да как же это случилось?

– А кто его знает? Жила она себе в степи, на хуторе с дедом. Налетел загон, все сожгли, ограбили, а ее или убили, или в Крым увезли... Вернее, что убили, потому что вот он уже целый год ищет ее и не может найти.

Рассказ Орыси очень заинтересовал странника, а Орыся, сама заинтересованная до крайности этим происшествием, с удовольствием делилась с собеседником своими сомнениями и надеждами. Так прошло еще с четверть часа.

Но вот дверь отворилась, и в комнату вошел Остап. При виде Остапа Орыся быстро вскочила с места и бросилась к нему навстречу.

– Ну, что? Увидел? Расспросил?! – засыпала она его вопросами.

– Да нет, все его гетман держал, а теперь, видела, окружила его какая гурьба? Ну, разве можно хоть словом перекинуться?

Ответ Остапа опечалил и разочаровал Орысю; она отвернулась в сторону и заметила, что странник, встав с места, поспешно надевал свою котомку.

– Куда ж вы, панотче, куда? – остановила она его. – Отдохните еще немного, вот и муж мой послушает ваших рассказов; повечеряйте у нас, переночуйте, а тогда и в путь.

Остап также присоединился к просьбам жены; но странник отказывался; он торопился в путь и надеялся еще до вечера пройти верст двадцать. Убедившись наконец в том, что ее просьбы не действуют на странника, Орыся бросилась в комнату, притащила оттуда две паляницы, достала вяленой рыбы и других припасов. В то время, когда Орыся хлопотала и радушно наполняла котомку нищего, Остап стоял неподвижно у дверей, не спуская с него пристального взгляда: что-то неуловимое в наружности этого нищего привлекало его внимание...

Между тем странник поспешно уложил свою котомку и, поблагодарив хозяев за радушный прием, вышел со своим проводником из светлицы. Орыся провела его до самых сеней и возвратилась, радостная, назад.

– Слушай, Остап, а какой у меня дарунок есть для тебя! – защebetала она весело, обвивая его шею руками. – А вот и не скажу! Или сказать? Ну, говори: сказать или нет? – Орыся обхватила руками голову Остапа и повернула ее к себе. – Сказать или нет? – повторила она снова



с лукавой улыбкой; но Остап, по – видимому, не слышал ее слов, брови его были сомкнуты, казалось, он старался припомнить что-то ускользающее из его памяти.

– Э, да ты и не слушаешь меня! – протянула она изумленно, вглядываясь в выражение лица Остапа. – Ты думаешь о чем-то! О чем же, о чем?

И так как Остап продолжал молчать, то Орыся произнесла взволнованным, дрожащим голосом, сжимая до боли его руки.

– С тобою случилось что-нибудь страшное?.. Ты не хочешь мне сказать?

При звуке этого испуганного голоса Остап ласково улыбнулся и нежно прижал ее к себе.

– Нет, нет, голубка, ничего, ничего. А только эти глаза, – он посмотрел вслед ушедшему страннику и досадливо потер себе лоб рукой, – и где я их виде;!? Вот видел где-то, а вспомнить не могу!..

Выйдя из хаты Остапа, нищий направился, прихрамывая и опираясь на руку проводника, к выходу из верхнего замка. Отсюда они спустились в нижний город Чигирин. По улицам города сновало много народа, казаков, мещан и набившейся сюда во время военных действий шляхты. Потолкавшись всюду, послушавши во всех местах, о чем говорят и шепчутся люди, странник направился к городским воротам. К выходу его из города не представилось никаких препятствий, и через четверть часа он уже ковылял по широкой дороге, пролегавшей от Чигирина до Киева.

Отойдя на значительное расстояние от города, странник оглянулся по сторонам: на дороге не видно было ни одной души.

– Ну, – произнес он, обращаясь к своему провожатому, – теперь времени терять нельзя. Гайда в лес, да поскорее! Ха – ха! Дело сделано, теперь уже осталось безделье!

С этими словами он оставил руку мальчика, и оба торопливо зашагали по направлению к лесу, видневшемуся на краю горизонта. До леса было, по – видимому, не менее пяти верст, но путники бодро шагали, не показывая признаков утомления.

– А здорово тарасил на пана дядька очи тот казак, – обратился к страннику мальчишка, – словно припомнить что-то хотел.

Нищий усмехнулся в бороду:

– Д-да, ну не желал бы я, чтобы на этот раз ему память помогла.

– У меня даже мурашки по коже побежали.

– Хе, струхнул и я... Одначе ты, малый, того, потише, а то смотри, как бы нас с тобою не подняли туда, откуда я тебя спустил. Здесь и ветер ведь разносит слова. А стоило только тому здоровому дурню протереть лучше свои буркалы... Ну, сам понимаешь...

Мальчишка, действительно, был, по – видимому, способен понимать все с полуслова.

– Небось! Своя шкура тоже дорога! – произнес он с наглой усмешкой.

– То-то же. Да прибавь шагу! На всякий случай надо поскорей замести свои следы.

Спутники замолчали и ускорили шаги. Через полчаса они достигли опушки леса и вошли под его сетчатые, полуобнаженные своды.

Это был старый и дикий черный лес, преимущественно дубовый. Хотя стоял уже конец октября, но деревья еще сохранили часть своей золотистой листвы; дубы она покрывала еще густым и жестким бронзово – красным покровом. Лес был дик и запущен. Тысячи кустарников, молодых деревьев, старых обвалившихся стволов переплетались в нем густой непролазной стеной, а над всей этой массой поподымались вершины могучих столетних дубов.

– Ну, здесь уже все-таки легче, – произнес странник, оглядываясь с удовольствием на охватившую их со всех сторон чащу, – не люблю я открытых мест.

– А я и белого дня! – прибавил мальчишка.

– Гм... Молодец. А не забыл ты, какие приметы?

– Нет, нет! Идите смело за мной.

Путники прошли еще версты три по дороге, пролегавшей через лес. Наконец мальчишка остановился у молодой березы со свежесрубленной веткой.

– Вот здесь, – произнес он, – отсюда налево.

– Верно, верно, – согласился и странник, осмотрев внимательно ветку.

Они свернули в чащу леса. Время от времени мальчик останавливался у каких-то зарубленных или особенно загнутых веток и с уверенностью продолжал дальше путь.

С полчасика, а может и больше, кружили путники по лесу и наконец дошли до небольшой прогалины, посреди которой стояли две оседланные лошади, привязанные к дереву на длинных поводках. При виде появившихся наконец хозяев, одна из лошадей вытянула навстречу им свою лебединую шею и издала тихое ржание.

– Узнал? – странник подошел к лошади и ласково потрепал ее по шее. – Только ты потише, это тебе не Гадяч.

Затем странник и мальчик взяли лошадей под уздцы и вывели их обратно тем же путем на дорогу. Здесь они отвязали от седел свои длинные кереи, набросили их на себя, нахлобучили на головы каптуры, вскочили на лошадей и поскакали по дороге вперед.

В лесу было тихо и пустынно. Уже всадники проехали верст десять, не повстречавши ни единой души, как вдруг старший придержал коня и внимательно прислушался.

– А что, пане дядьку? – спросил младший.

– Слушай, – произнес отрывисто странник.

Мальчик последовал его примеру; оба замерли, чутко насторожившись.

В лесу было тихо, так тихо, что слышно было, как падал на землю отживший лист, и сквозь эту тишину до слуха путников явственно донесся какой-то отдаленный шум, то затихавший, то усиливавшийся.

Нищий соскочил с коня и припал ухом к земле.

– Скачут? – прошептал мальчик.

– Скачут.

– Много?

– Душ двадцать.

– Что ж делать?

– Бери лошадей и прячься с ними скорее в самую чащу, да сиди там до тех пор, пока я не крикну тебя дважды пугачом.

– А пан дядько?

– А я! – нищий внимательно оглянулся кругом.

Недалеко от них лесная чаща, отступая полукругом от дороги, образовывала небольшую прогалину, на краю которой поднимался гигантский развесистый дуб; листья покрывали его густой шапкой и могли представить для наблюдателя надежную защиту.

– А вот куда, – произнес нищий и указал мальчику на дерево.

– А если кто заметит?

– А вот ты посмотри, ну ж, живо!

Странник соскочил с коня, сбросил керею, привязал ее к седлу и передал лошадь мальчику, а сам направился к дубу. Через несколько минут он уже сидел на одной из верхних веток, совершенно скрытый густой листвой.

– Ну что? – спросил он мальчика.

Мальчик обошел со всех сторон дуб и ответил уверенно, что тут не рассмотрит и сам дьявол.

– Ну, так ступай, да заберись подальше, чтоб лошади не заржали.

Через несколько минут мальчик с обеими лошадьми скрылся в чаще леса. Слышно было только, как трещали сухие ветви под их ногами, но вскоре и эти звуки исчезли.

Притаившись в листьях, нищий стал чутко прислушиваться. Отдаленный шум слышался уже явственнее, – он приближался; теперь можно было легко различить топот нескольких коней.

Через несколько минут на дороге показался небольшой казачий отряд. Впереди отряда ехала высокая стройная молодая женщина, вооруженная с ног до головы.

Рядом с нею ехал молодой светловолосый казак.

Небольшой отряд из пятнадцати – двадцати казаков сопровождал их. Лошади путников были утомлены; видно было, что они совершили немалый переезд.

– Тут, что ли, остановимся, Марианна? – обратился к молодой спутнице сопровождавший ее казак. – Вот здесь, смотри, под этим дубом?

– А разве так не доедем? Зачем терять время? До Чигирина ведь близко, – ответила она низким, грудным голосом.

– О нет, еще верст пятнадцать, а то и двадцать осталось... Тебя разобьет, панна Марианна, совсем.

– Пустое!

– Да и лошадям надо бы дать отдохнуть. Смотри, уморились совсем.

– Ну, коли так, то гаразд.

– С коней, панове! – скомандовал казак, обращаясь к своим товарищам. – Сходи на эту полянку, сделаем привал.

Все свернули с дороги и въехали на прогалинку, на опушке которой стоял дуб.

Соскочив с коня, молодой казак подошел к Марианне, чтобы помочь ей сойти с лошади; но девушка отстранила его руку и легко и ловко соскочила сама на землю.

– Гей, хлопцы, коня возьмите! Иди сюда, панна Марианна, вот здесь, под дубом, приляжь, отдохни! – Он указал на разостланный уже казаками под дубом ковер.

Девушка последовала его приглашению, а казак бросился доставать из тороков всевозможные припасы. Через минуту на ковре перед Марианной появились фляжка меду, хлеб, вяленое мясо, копченое сало и другие запасы. С самой нежной заботливостью принялся казак угощать свою спутницу, но девушка ела мало. Она рассеянно отвечала на его вопросы. Брови ее были сурово сжаты, глаза глядели задумчиво и сосредоточенно вперед. Казалось, что за этим темным непрозрачным стеклом ее глаз хранилась какая-то грустная тайна: она-то проглядывала и в сурово сдвинутых бровях девушки, и в скорбно сжатых углах ее рта; но видно было, что этой тайны не вырвал бы у нее никто, никогда...

## V

– Ты устала, панна Марианна? – произнес казак, всматриваясь в бледное лицо панны.

– О, нет!

– Не ешь ничего...

– Благодарю тебя, я уж сыта.

– Выпей хоть келех меду, Марианна, он подкрепит тебя.

Девушка улыбнулась:

– Если ты этого хочешь – изволь, но сил мне не к чему подкреплять; ты ведь меня знаешь, Андрей!

Разговор оборвался. Между тем коням распустили подпруги, подвязали мешки с овсом; хлопцы, достав из тороков провизию, расположились на отдых. Несколько душ бросилось было собирать сухой хворост для костра, но атаман остановил их.

– Не надо огня, панове! Опасно, чтобы дым не привлек кого-нибудь.

– Да ведь Ханенка, Андрей, уже загнал гетман в Крым? – произнесла Марианна.

– Самого-то загнал, а собаки его косоглазые еще шныряют кругом. Видела ты эти сожженные, пустые села? Ведь это все их дела...

Это слово казака вызвало и в его душе, и в душе Марианны ужасные картины, виденные ими по пути. Оба замолчали под тяжестью нахлынувших воспоминаний.

Между тем нищий даже свесил голову, внимательно прислушиваясь и присматриваясь к тому, что происходило внизу, но остальные казаки, утомленные длинным переездом, говорили мало и неохотно.

– О, этот Ханенко! – вздохнула, наконец, глубоко Марианна. – Пусть вся эта кровь, все эти стоны на голову ему упадут! Но если удалось дело в Стамбуле, тогда мы ему живо подрежем крылья... Вернулся ли уже Мазепа?

При этом вопросе девушки по лицу Андрея пробежала какая-то неуловимая тень.

– Не знаю, – ответил он, и в голосе его послышалась худо скрытая, неприятная нотка.

– На перевозе говорили, что уже видели его здесь... Когда бы застать... Не услал бы его куда гетман? Далеко ли еще до Чигирина? – продолжала оживленно девушка.

– Марианна... – произнес как-то робко Андрей и замолчал, устремив на Марианну пылкий, вопросительный взор.

Под влиянием этого взгляда щеки девушки покрылись легким румянцем, а брови сердито нахмурились.

– Мазепа привезет нам важные вести, – ответила она гордо, – от этих вестей зависит вся будущность отчизны.

Лицо казака прояснилось.

– Прости, прости меня, Марианна, – прошептал он, – ты знаешь... я...

– Если кони уже отдохнули, прикажи собираться в путь, – перебила его Марианна.

Андрей поднялся и отдал приказание. Через четверть часа Марианне подвели коня. Она собиралась уже вскочить в седло, как вдруг сильный треск на дубе заставил всех вздрогнуть и оглянуться; но не успели они даже подумать, что могло бы быть причиной этого треска, как с дуба посыпались дождем сухие листья, мелкие ветки и вслед за этим к ногам казаков рухнула какая-то грузная, неуклюжая масса.

– Человек! – вскрикнула Марианна, подбегая к упавшему.

– Какой-то странник или монах, – произнес Андрей, рассматривая нищего.

– Убит?

– Нет, жив! Гей, хлопцы, подведите его да струсните хорошенько, пусть-ка расскажет нам, что он тут, на дереве, делал?

В одну минуту казаки окружили странника, подхватили его под руки и поставили его перед Ащуэем.

Действительно, нищий не был убит; удар и испуг ошеломили его только на одно мгновение; когда же он увидел себя окруженным казаками, когда почувствовал на себе пронзительный взгляд их предводителя, на лице его, исцарапанном, окровавленном, отразился неподдельный ужас.

– Ясновельможный пане сотнику, пане полковнику, за что, за что? – залепетал он.

– Что ты здесь делал на дереве? Отвечай, да по правде, а не то мы опять подыдем тебя туда на веревке! – крикнул на него грозно Андрей.

– Ясновельможный пане, как перед Богом... говорю правду... вот хоть повесь меня, – заговорил странник прерывающимся голосом, – услышал топот конский и подумал, что татаре... потерял со страху и рассудок, да и бросился на дерево, думал, что там укроюсь...

– Кто же ты такой?

– Был когда-то добрым хозяином, а теперь вот старец бесприютный, нищий, сирота голодный.

Из груди странника вырвалось жалобное всхлипывание, голова его беспомощно затряслась, по щекам побежали слезы. Вид его невольно возбуждал сожаление.

– Куда же ты идешь теперь? – продолжал Андрей уже смягченным голосом.

– И сам не знаю, куда... побираюсь теперь Христовым именем... С ласки гетманских союзников.

– Не гетманских, а ханенковских, – перебила его строго Марианна, – ты на гетмана не каркай, гетман никогда с басурманами земли своей не воевал.

– Ох, вельможная, милостивая пани! Разве я смею на егомось каркать? Продли ему, Господи, и веку, и доли... а только вот слышно кругом, что хочет всех нас гетман басурманам отдать, Ох, как же, слухаючи такое, не заболит сердце у всякого, кто родился в вере христианской?

– А ты всякому слуху не верь, это недруги гетманские, баламуты, нарочно такие слухи распускают, чтобы смущать и тревожить добрых христиан, – возразила Марианна, – гетман для того только с турками и в згуду вошел, чтобы оборонить вас от татар, да от своих же псов, которые шарпают, рвут Украину на тысячу кусков.

– Ох, ох, ясновельможная пани... Кто уже теперь нас, голых и бездомных, оборонит? Расшарпали уже нас вороги... Оттуда ляхи наступают, тут татаре душат, на левый берег не пускают... да и на левом берегу... Ох!

– Молитесь Богу и святому Петру. Он и расшарпанное соединить может... – произнесла с каким-то особенным ударением Марианна и, вынувши из кожаного мешка золотую монету, подала ее нищему, – а это тебе, старче, на хлеб насущный.

Нищий бросился было целовать руки молодой девушке, но Марианна отстранила его.

– Не надо, брате! – произнесла она более мягким голосом, затем вскочила на подведенного ей коня и повторила еще раз значительно: – Молитесь Богу и святому Петру.

– Ну, в путь, панове! – скомандовал Андрей и, обратившись к нищему, прибавил: – А ты, старче, берегись да осматривайся: татаре еще бродят кругом.

Казаки подняли лошадей вскачь, и через несколько минут отряд скрылся из виду.

Долго следил за ним нищий, прислушиваясь к замирающим звукам конского топота. Когда последние отзвуки наконец совершенно угасли, он выпрямился и вздохнул глубоким, облегченным вздохом.

– Ну, уж и тухнул, даже волосы к голове прилипли, – прошептал он, дотрагиваясь до своего мокрого лба. Затем он ощупал все свое тело, попробовал сделать несколько шагов, и по лицу его разлилась довольная улыбка. – Ничего, все цело... хе – хе!.. думал, что уже прямо к черту в пекло лечу; иначе, видно, что разумный человек и из пекла вырваться сможет, да еще

заработать при том и добрый червончик! – Нищий рассмеялся каким-то наглым смешком и с удовольствием потер свои руки. – Так вот на какой ток летят наши птички зернышки клевать! Молитесь Богу и святому Петру... хе – хе! Запомним, запомним, пане Гострый, какому святому молитесь вы!

Нищий крикнул два раза пугачом, и через несколько минут на его крик отозвался другой, отдаленный, протяжный, донесшийся из глубины леса. Вслед за этим послышался треск сухих ветвей, а через несколько времени кусты раздвинулись, и в образовавшееся отверстие вынырнула голова мальчишки, а вслед за нею показались и лошади, которых он вел в поводу.

– Ну, что, как? – обратился он к страннику.

– Ничего, все хорошо, еще и червончик заработали. А теперь на коней – и гайда!

– Куда же?

– К монашкам в гости, в Лебедин!

В просторной светлице гетманского замка, в Чигирине, за квадратным столом, уставленным кубками и флягами, сидела небольшая группа собеседников. Время уже было послеобеденное; в узкие окна, испещренные мелкими разноцветными стеклами, проникал мутный свет, терявшийся совершенно в промежутках между высокими шкафами. Спиной к окну сидел гетман Петр Дорошенко; его фигура в расстегнутом бархатном кунтуше была очень эффектна при этом рембрандтовском освещении, но окаймленные светом края его чуприны и усов отдавали уже чистым серебром, а на оттененном лице, осунувшемся и постаревшем, чернела глубокая рытвина, залегшая между бровей. Боком, ближе к нему, сидел Богун, постаревший тоже, неумолимое время прибавило к его благородным чертам еще несколько черточек, рассыпав их особенно щедро вокруг глаз, хотя и потускневших, но вспыхивающих еще иногда прежним огнем. На других сторонах стола разместились в почтительных позах полные здоровья и сил, словно помолодевшие Кочубей и Мазепа; только на прекрасном лице последнего было разлито теперь задумчиво – грустное выражение. У собеседников ковши были полны, и шел оживленный, захватывающий всех разговор.

– Ты упрекаешь меня, друже мой, – говорил взволнованный гетман, то затягивая некоторые слова, словно желая захватить грудью больше воздуха, то сыпая ими торопливо, – ты упрекаешь меня, что я отозвал назад с левого берега Гамалию с полками и белгородской татарвой и что я будто бы тем изменил своим заветам?

– Не упрекаю, голубе, – прервал его Богун, дотронувшись ласково до плеча, – а говорю лишь про то, что я там видел: города один за другим отдаются снова во власть Демьяна, а то и просто во власть московских воевод... Ты знаешь Демьяна, у него простая казачья душа и доброе сердце, но волей он слаб и труслив, а такие люди в трудную годину впадают часто в жестокость.

– Многогрешному памятна расправа с Бруховецким, а потому он и боится выпустить булаву из своих рук, – вставил, иронически улыбаясь, Мазепа.

– И то может быть, – кивнул головой Богун, – но тут не о гетмане речь, а о народе. Люди только что ожили было надеждой соединиться снова под одной булавой, а тут их, за верность Украине, бросают, беззащитных, на разоренье...

– Да разве бы я бросил их, Иване? – вскрикнул раздражительно гетман, и в голосе его послышались скорбные ноты. – Разве бы оставил на произвол, если бы не бросила меня самого на поталу моя щербатая доля! Не отступился я от своих думок, они жгут мою грудь и, может быть, пережгут сердце на уголь, а все-таки я их не кину... Но меня одолела безвыходность – скрут. Разве у меня сердце не обливалось кровью, когда был я лишь полковником, когда после смерти Богдана начались братоусобия и кровопролития на нашей несчастной, забытой Богом земле? Славный наш гетман у верной пристани, под надежным крылом думал пристроить измученную, изнеможенную страну – а что случилось? Этот несчастный, обиженный Богом



Юрась, ставший забавкою многих, этот неудачник, но ширый сердцем Выговский, эти Иуды – христопродавцы Тетеря и Бруховецкий, торговавшие, как жида, краем, – разве они не облили родной матери кровью своих детей? Разве соседи не радовались и не подстрекали их на эту каинскую потеху? Ты помнишь эти часы, друже мой любый Иване, они ведь недавно были и укрыли твою голову морозом?

– Туга, бесконечная туга облегла тогда Русский край, заплакала, зарыдала Украина у гроба своего батька, да и не осушила глаз, а залила их еще кровью, – вздохнул глубоко Богун, и тяжелый вздох его повторили эхом две молодые груди, – а теперь, – закончил он, словно подавившись словами, – уже не туга обнимает Украину, а смерть разлеглась по ее широким степям.

– Да, ты прав, Иване, – говорил хриплым голосом гетман и отпил несколько глотков меду, – теперешние времена горше первых, а что будет дальше, так страшно спрашивать и у Бога. Но клянусь вам моею несчастной судьбой, – улыбнулся он горько, – что не любоначалие заставило меня принять булаву, а та боль, Что сжимает клещами сердце и у меня, и у тебя, и у другого, кому близки стоны отчизны, и поклялся я отдать всю мою жизнь ей, несчастной.

– Годи, Петре, оставь! – прервал Дорошенка Богун, стиснув крепко руку, – мы тебе верим. Кто твоего сердца не знает?

– Золотое оно, неподкупное, батьку наш! – откликнулся горячо Мазепа.

– Что и толковать! – махнул энергично рукой Кочубей.

– Нет, выслушайте меня, друзья мои, – начал снова гетман, смахнувши что-то с ресниц, туманившее ему глаза, – человек – бо есмь, а errare humanum est... Всякий совет, всякая порада ведь дороги... Вот он, – указал гетман на Мазепу, – никогда не отказывает мне в своем светлом разуме, и я благодарен... Так рассудите, в чем я был не прав и что мне было делать? Ведь с моей булавы начались бесчинства на Украине и чуть ли не каждый полк стал выбирать себе нового отдельного гетмана. Да что полк? И татары вмешались в наши sprawy и стали приводить нам своими ордами да разорениями своих ставленников.

– Эх, это всегда так бывает, – вздохнул Мазепа и провел рукой по разгоряченному лбу, отбрасывая назад нависшую чуприну, – где старшина по своему невежеству и близорукости печалится лишь о своих кешнях, а общих интересов знать не хочет, где искренно преданных людей и разумных искать нужно днем с огнем.

– Да, пане Иване, – протянул грустно Богун, – никто у нас не ведает, куда идти и чего желать? А только всяк о своей шкуре заботится... Да и то лишь на сегодня, а про завтра и думки нет.

– Аки птицы небесные, – усмехнулся Кочубей.

– Да, аки птицы, – согласился Мазепа. – Для того ведь, чтобы думать о завтрашнем дне, нужно иметь память и опыт, а для того, чтобы думать о далеком будущем, нужно уже иметь большую голову... У нас даже не установлен обычай, как выбирать гетмана! Сказано – вольными голосами... а чьими? Запорожскими ли, казачьими ли, мещанскими ли, или черной радой?

– Гм! – улыбнулся Богун и потряс одобрительно головой.

Гетман также с видимым удовольствием слушал Мазепу, успокаиваясь и овладевая собой.

– До Богдана гетманов утверждала и ставила Речь Посполита; Богдана выбрало Запорожье, а потом подтвердили избрание вольные голоса казачества, в число которого входила тогда и чернь... так и в Переяславский договор перешло, что гетман избирается вольными голосами. А как пришлось до дела, то и стали захватывать эти голоса прежде всего запорожцы, потом казаки, а потом и чернь... Но так как нельзя же для выбора гетмана согнать куда-либо весь мир, то это право и присваивает всякий... а других не признает, другие, мол, выбраны не по праву... Ну, проходимцы и пользуются этим.

– Да, да... разумная у тебя голова, пане Иване, – заговорил оживленно Богун, приводя своей похвалой в смущение Мазепу, – нет у нас совсем ладу, а стоит какой-то разгардяш, безначалие и бесправие... всякий хочет паном быть, а «на греблю некому», всякому люб лишь разгул, а подчиниться какой-либо власти никто не желает... Ты говоришь, что неизвестно у нас, кому выбирать гетмана?.. А я тебе скажу, что у нас неизвестно, кто имеет право назначать и полковника, и сотника, и хорунжего, и даже бунчукового товарища! То назначает их гетман, то полк или сотня, а то и сами себя, кто желает.

Мазепа кивнул утвердительно головой, а Кочубей даже рассмеялся, но потом, спохватившись, что смех его не соответствует серьезности разговора, сконфуженно вышел в другие покои, захватив порожные фляги.

– Ну, так видите ли, друзья мои, – заговорил теперь более спокойно и уверенно гетман, – в какую злую годину взял в руки я булаву; я убежден был, что моя голова и мое сердце нужны для отчизны, и порешил искренно, что если найдется голова полезнее моей, то я с радостью переуступлю ей свою власть... Главное лихо, что губит и силу народа, и взаимную кровную связь, было и есть, повторяю, расторжение Украины на две части... причем и Запорожье еще кинуто в какие-то особые, чуждые условия. Я поставил своей первой и главной задачей воссоединить разорванную на части нашу неньку, и этой думке я не изменил, мой любый Иване, и не изменю, пока не сдохну...

– Петре, любый! – схватился Богун и обнял его горячо. – Да разве у меня и на мысль приходила когда-либо зрада? Я только подумал было, что ты затягиваешь исполнение.

– Нет, дослушай, Иване, – усадил ласково Богун гетман и наполнил ему кубок вишневой, – раз я задался такой думкой, так должен же был держать крепко булаву в руке и не отдавать ее первому желающему. А разом со мною за эту булаву схватились и Опара, и Суховей, и Ханенко... Значит, и мне, прежде чем промыслить о соединении Левобережной и Правобережной Украины, нужно было помыслить, чтоб Правобережная не распалась еще на четыре части, и я должен был бросить правый берег... оставить все добытое... – сказал он как-то смущенно, опустив вниз голову, а потом, после небольшой паузы, начал с напускным одушевлением: – Я попробовал прежде действовать увещанием, предлагать даже свою булаву, лишь бы все уступили кому-нибудь одному, но никто не шел на уступки, а напротив, всяк начал действовать силой, и я должен был противопоставить силе силу... с Опарой я справился скоро, Суховей убежал, но Ханенко накликал татар и пошел с ними жечь и грабить родную страну... А тут еще и поляки двинули на меня свои хоругви... Куда мне было броситься? К Москве? Но она нас не хотела и отдала, по Андрусовскому договору, во власть наших исконных врагов... Я и обратился к Турции, единственной, хотя и чужеверной, но могучей державе: она ведь отмежевана от нас морем и не сможет нас проглотить, а помочь нам своей силой может, – закончил Дорошенко.

## VI

– Так-то оно так, – произнес Богун вдумчиво, – но бусурманского ига не может народ потерпеть...

– Не ига, а лишь союза, – возразил раздраженно гетман, побагровев от досады; видимо, это был для него особенно щекотливый вопрос. – Я в этом глубоко убежден и теперь... И Турция уже мне оказала услугу, смирила поляков – раз, а потом, когда меня осадил татарскими ордами у Коротни Ханенко, то я пять месяцев там пропадал и пропал бы, но одно слово турецкого посла заставило татарву отступить, и я мог тогда свободно двинуться к Умани и утвердить в том краю свою власть...

– Но Ханенко же снова тебя накрыл с татарами под Стеблевым? Значит, слова падишаха для них ре важны, – заметил лукаво Богун.

– Что ж тут удивительного? – ответил тогда уверенно гетман. – Мурзы и султаны непослушны, самоуверенны, – там тоже безладье.

– А еще и то, – добавил Мазепа, – разве для татарина интересен порядок в устройстве соседа? Ведь порядок дает силу, а сила сокрушает разбойничьи набеги.

– Ну, вот и легко их, разбойников, было подкупить грабежом и накинуть на меня дикие орды... Тут уже спас меня неожиданно – нежданно Сирко, и мы разбили наголову татар, а Ханенко едва унес ноги... Вот тогда только, когда про Ханенка и слух простыл, а я остался один с булавой по Правобережной Украине, тогда только я снова приступил к выполнению своей задачи, к воссоединению разорванных частей родины, и двинул на левый берег свои полки...

– И имел громаднейший успех, – прервал его запальчиво Богун, смешавший последний поход на правый берег с первым, – все тебе стало сдаваться без боя, везде твое имя благословлялось, и народ, озаренный новой надеждой, поднял голову, свергнул и растерзал даже ненавистного ему Бруховецкого, провозглашал уже тебя единым гетманом обеих Украин, но ты в самую важную минуту...

Мазепа давно уже останавливал взглядом забывшегося Богуна, Кочубей кашлял, но Богун не понимал их, и только теперь, взглянув на гетмана, он спохватился, что сказал лишнее; побледневшее на мгновение лицо Дорошенко вдруг покрылось багровой краской и потемнело... Наступившие даже сумерки не могли скрыть такой разительной перемены. Гетман ухватился было за грудь рукой, а потом прижал ладони к вискам и застонал слабо.

– Что с тобой, Петре, мой друже? – затревожился Богун, прикладывая и свою руку к воспламененному челу гетмана.

– Воды! – произнес тот глухо.

Мазепа подал торопливо кружку воды и подчеркнул Богуно:

– Ясновельможного всегда приводит в содрогание виденная им картина зверской расправы с Бруховецким.

– Д-да, – словно давился глотаньем воды гетман, дыша тяжело и отирая выступивший на лбу холодный пот, – этак может и паралич задавить, лучше и на думку не пускать... Я ведь не про тот проклятый час говорю, а вот про теперешний, недавний, – говорил он с паузами и передышками, медленно овладевая собой. – Вот про Гамалия и Гоголя, что посылал я на левый берег с полками и Белгородской ордой...

– А – га – га! – догадался Богун. – Ну, и ладно... был ведь там недавно... так вот и не знаю, что побудило тебя отозвать оттуда свои силы, ведь там они победоносно шли и чуть ли не половину гетманства привернули было под твой бунчук...

Гетман не сразу ответил: или ему было тяжело еще говорить, или он обдумывал причины. Мазепа, заметив замешательство гетмана, поспешил на выручку.

– Во – первых, славный полковниче, – заговорил Мазепа, – наших сил там было всего – навсего лишь четыре тысячи, а Многогрешный, не дождавшись помощи от Москвы, собрал своих двадцать тысяч и ударил на наш ничтожный отряд; Гамалий заперся в Городище, и его гетман добыть никак не мог, но все-таки против такой надзвычайной, подавляющей силы нашим нельзя было долго держаться, а потому Гоголь и прилетел сюда за помощью... А тут мы получили известие, что Ханенко снова вынырнул из Крыма и появился с ордами в Умани... Что же было делать? Или послать за Днепр все силы и оставить свою страну без защиты, или вызвать подмогу из-за Днепра сюда и отправить к Умани? Долг правителя и благоразумие заставили гетмана решиться на последнее.

Гетман с благодарностью поднял глаза на Мазепу.

– Тем более, что мысль о соединении Украины не только не оставлена мною при этом, – добавил он, – а даже подвинута вперед, только другим, мирным путем. Я обратился... с запросом, что желаю вести переговоры с Демьяном, и он откликнулся радостно на мой призыв... Мы готовы, выходит, поступиться оба своими булавами для крепости и блага нашей отчизны.

– Друже мой! Брате мой! Прости меня, что я усомнился! – бросился обнимать Дорошенко Богун, – не в тебе, не в тебе усомнился было, а в твоих мерах, теперь я опять помолодел и даже напиться готов за твой долгий век, за Украину, за ее будущее.

– А вот и новая запеканка на этот случай, – сказал весело вошедший в этот момент Кочубей с сулеей, наполненной темной ароматной жидкостью. – Жинка приготовила! – похвастался он.

– Давай и наливай! – скомандовал Мазепа.

– Спасибо, спасибо за доброе слово! – говорил между тем растроганный гетман, целуя своего побратима. – За это и следует выпить! – поднял он кубок. – Мне-то и нужны друзья: один я теперь! – закончил он как-то угрюмо и, чокнувшись со всеми, выпил залпом свой кубок при дружных криках «виват!».

– Наступают, действительно, тяжелые времена, – продолжал он, усевшись грузно. – Нужно напрячь все Силы и быть трехголовыми церберами... столько усилий и жертв, и все мы на одном месте, только самое место стало пустынной и глуше. Да, – встряхнул он головой, словно отгоняя прочь от себя докучные мысли. – Сегодня я жду владыку, с ним все обсудим... Нужно решаться, час припел, и напасти встают тучами.

В это время дверь отворилась, и в комнату вошла сияющая радостью и здоровьем Саня; она занимала теперь в гетманском замке роль хозяйки.

– Ясный гетмане, простите, что я перебила беседу... Джура боялся войти, так я взялась...

– А что там еще? – привстал Дорошенко тревожно.

Все тоже повернулись в сторону Сани с видимым беспокойством.

– Ничего особенного такого, – улыбнулась простодушно Саня, – а только то, что приехала в Чигирин дочь левобережного полковника Гострого, панна Марианна, и просит позволения посетить ясновельможного!

– Марианна? Дочь моего друга? – вскрикнул радостно гетман. – С вестями, верно... Где же она? Проси!

Мазепа до того был огорошен этим известием, что не знал, как скрыть свое непослушное волнение; он остановился в какой-то смешной позе и замер; хорошо, что взоры всех были в это мгновение обращены на входную дверь, и никто не заметил неловкого положения пана генерального писаря...

Через минуту дверь из внутренних покоев была распахнута двумя джурами, и на пороге ее появилась Марианна. Она была в том же дорожном костюме, в темно – зеленом байбараке, облегавшем изящно ее стройный стан, кольчуга была уже снята; лицо панны, классически правильного рисунка, с резко очерченными черными бровями, не носило и следа усталости, а напротив того, от быстрой езды на ее матовом, бледном лице проступал едва заметный румя-

нец. Вся фигура панны полковниковой, дышавшая избытком энергии и здоровья, произвела на всех ободряющее впечатление. Мазепа, сам того не замечая, застыл в восторженной улыбке. Марианна обвела все собрание быстрым взором, задержала его на Мазепе, вспыхнула едва заметно и быстро остановила глаза на ясновельможном гетмане. Дорошенко сделал к ней шага два, раскрыв широко руки.

– Витаю дочь моего друга! – произнес он радушным, приветливым голосом. – Славная, достойная ветвь доблестного рода Гострых всегда приносила мне двойную радость и своим появлением, и добрым предзнаменованием, которые с ней неразлучны.

– Гетман так добр и ласков, – смешалась несколько от похвалы панна, но, оправившись быстро, добавила: – А мои добрые предзнаменования суть лишь открытые щедрые сердца, любовь которых я и приношу нашему любому батьку.

– Спасибо! – промолвил тронутым голосом гетман и, обняв Марианну, поцеловал ее отечески в лоб, а она поцеловала почтительно его в руку. – Спасибо! – повторил он весело. – Вот и выходит, что мы во всяк час и на каждом месте грешим, – только что роптал я на то, что у меня мало друзей, а Господь милосердный и шлет в мою храмину друга, да такого еще, что десятерых стоит.

– Если судить лишь по сердцу, – улыбнулась Марианна, – а по разуму есть у славного гетмана лучшие друзья, – указала она красивым жестом на предстоящих.

– Ну, не разумница ли? Не лыцарь ли настоящий, во всем, по всему? – воскликнул Дорошенко в восторге. – Да будь я вражий сын, если я, хоть и старик, не переломаю за такую панну с десятков булатных клинков!

Всех сразу охватило веселое, шутливое настроение.

– Ты прав, Петре, – подхватил и Богун, – один взгляд этих орлиных глаз покоряет чело века целиком и кипятит охладевшую кровь.

– Да за панну не то клинки, а головы можно разбить! – добавила молодежь.

– Вельможное панство! – запротестовала взволнованная Марианна. – Я не привыкла к таким восхвалениям и не люблю подслащенных медом речей... Наши леса приучили меня не до панских лебезинь, а до бурь – непогод и до ласк дикого зверя.

Между тем в дверях скромно стоял еще другой гость, незамеченный пока никем, и слушал эту перестрелку похвал с волнением; лицо его то бледнело, то вспыхивало густым румянцем, то покрывалось перелетными тенями от внутренней сдержанной боли.

– Ну, если ты, панно, привыкла к зверю, – заметил Дорошенко, – то, значит, и этих зверей не лишишь своей ласки. Вот старый медведь, задравший немало на своем веку охотников до нашего добра, Богун – полковник, коли слыхала.

– Кто смеет не знать славного Богуну? Имя его гремит из конца в конец света.

– Если оно повторяется панной, то края света уже лишни, – ответил с юным пылом Богун.

– Вот это подписок и есаул мой – Кочубей, – продолжал гетман, – жалуй его, панно, но обходи оком, а то молодая жонка ему выцарапает глаза, вон та козоська-сарна, – указал он на стоявшую в стороне и вспыхнувшую при этом Саню, черные глаза ее, горевшие в эту минуту, как два уголька, напоминали действительно глаза сарны.

– Рада, рада! – пожала Марианна обоим супругам руки.

– А вот Мазепа, один из друзей, у которого, ты говорила, разуму позычать нужно.

В это время гетман бросил взгляд на дверь и, заметив стоявшего скромно хорунжего Андрея, с изумлением воскликнул:

– Ба, мы и не заметили дорогого гостя!.. Прости, казаче, твоя панна заслепила всем нам глаза! Ну, рад встретить хорунжего из надворных команд славного полковника Гострого в своем курене, – и он обнял подошедшего робко Андрея.

Остальные гости двинулись тоже к хорунжему поздороваться, а Марианна подошла между тем к Мазепе.

– Да, мы старые друзья, – протянула она ему обе руки, причем глаза ее зажглись живой радостью, – и я рада, вельми рада видеть моего друга бодрым и готовым стать на помощь отчизне.

Словно околдованный каким-то могучим очарованием, стоял все время неподвижно Мазепа, следя лишь за движениями Марианны; теперь же услышанные им дружеские слова вывели его из ошолобенения.

– Прости, Марианна, – проговорил он в волнении, – увидеть лучшего друга – наилучшая радость. В широте моих слов ты, конечно, не сомневаешься.

– Верю, верю, – ответила она тихо, – и пан Иван пусть не сомневается в моей широте.

– Садитесь же, друзья мои, – приветливо пригласил гетман, – а ты, наша милая сарна, – обратился он к Сане, – распорядись, чтобы сюда подали и кубков, и меду, и твоей запеканки.

Когда все уселись и комната осветилась канделябрами, а в блестящих золотых кубках заискрилась темная влага, то гетман, подняв вверх свою увесистую стопу, провозгласил первую здравицу за своего друга и наивернейшего упадника Украины полковника Гострого. Все с шумом и искренними пожеланиями осушили свои кубки.

– Ну, а как же здоровье его? – спросил гетман Марианну.

– Хвала Богу, – ответила Марианна, – еще на медведя ходит сам – на – сам, и коли призовет час, то за твою милость, батько, снесет еще с полкопы ворожьих голов.

– Продли ему, Боже, век! – отозвался Богун.

– На счастье нам и Украине, – заключил Дорошенко.

– Мой панотец шлет твоей ясной милости, – заговорила Марианна, – и привет, и всякие пожелания, чтоб исполнились, справились твои думки, а вместе с тем, он шлет тебе листы и от себя, и от нашего гетмана, Многогрешного.

– От Многогрешного? – оторопел даже гетман, так показалось ему невозможным это сообщение.

– Да, от Многогрешного! Отец мой, по просьбе ясновельможного, был у него два раза и много говорил о тебе, о твоих думках и о судьбе нашей несчастной отчизны. Гетман наш, передавал отец, сочувствует стремлениям твоей милости и сам любит отчизну, но открыто станет на твою, батько, сторону лишь тогда, когда будет уверен вполне в твоих намерениях. Для того и нужно будет отправить к нему посла.

– Господи! Да этого разве мало? – воскликнул взволнованный Дорошенко. – За минуту я ломал себе голову, как бы войти в соглашение с Многогрешным, а тут мой дальний друг исполнил мои желания и достиг того, о чем и мечтать я не смел. Теперь уже посол Мазепа уладит нам все. Да не десница ли Божья послала мне вас, голубята?

– Значит, Бог не отвернул еще от нас лица своего, – произнес Богун, и все облегченно вздохнули.

– Но где же эти листы? – засуетился гетман.

– А вот, передай их, пане Андрию.

Хорунжий почтительно передал гетману большой свиток, запечатанный висящей восковой печатью.

– Я попрошу прощения, – обратился с легким поклоном гетман ко всем, – и оставляю вас в приятной беседе за кельхами, а сам пойду прочесть письма, – и он встал и направился торопливыми шагами в свою рабочую светлицу.



## VII

По уходе гетмана Богун завел с Андреем тихую беседу о положении дел на Левобережной Украине, о настроении умов, а главное, о голоде, судьба которой и там, и здесь была равно безотрадной. Саня, под предлогом хозяйственных распоряжений, увела своего мужа к себе во флигель, оберегая его ревниво от молодой приехавшей гостьи.

Марианна подошла к Мазепе. Долго они смотрели друг на друга с нескрываемою радостью.

– Давно с тобой не видался, – прервал наконец молчание Мазепа, – и так мне радостно, словно на свет народился, – закончил он тихо, подавив непрошенный вздох.

– Как давно? И полгода нет! – заметила ласково панна.

– Ой, как давно! Мне кажется, целая вечность легла между тем временем и сегодняшним днем... Ведь разлука не считается сухим разумом, а считается сердцем.

– Значит, у пана сердце – плохой счетчик. Я ведь тоже соскучилась о своих друзьях; но время у меня незаметно прошло, словно вчера со всеми вами рассталась. Правда, у меня было столько дела и всяких забот, что некогда было ни по пальцам, ни по сердцу считать уходивших дней, – улыбнулась Марианна.

– Это большое счастье, если есть такое дело, в которое можно окунуться с думами, с воспоминаниями, с сердечными ранами, но горе, если себя не сможешь забыть... Тогда все прошлое, словно сегодняшний день, станет перед глазами с ужасом, с болью...

– Ах, прости, друг мой, – остановила его речь жестом Марианна и побледнела. – Я дотронулась до старой раны...

– Рука друга не растравляет ран, а врачует...

– Но есть такие, которых никто и никогда не залечит, никакая дружба, какой бы она ни была щирой...

– Кроме смерти, – произнес загадочно Мазепа и замолчал, погружаясь в какую-то тоскливую думу, а потом, подавивши вздох, продолжал: – Да, ночь беспросветную может рассеять лишь солнце; мне такой ночью и казалось все это время...

– Да, ты прав, Иване, я забыла, – проговорила грустно Марианна, побледнев незаметно. – Моя жизнь текла беспечно... так и несправедлива к другим... конечно, есть раны, о которых и вспоминать больно...

Марианна взглянула на Мазепу, но глаза его были опущены.

– Да, у нас было много забот и тревог в это время, – переменял он сразу тему, – разные неудачи угнетали гетмана, нужно было бороться с событиями, поддерживать его желания, придумывать меры: ведь здесь, во всей окружающей его старшине, нет ни одного человека, который бы подошел к его взглядам.

– Кроме Ивана Мазепы, – поправила Марианна и добавила: – Да, ты один лишь можешь быть здесь порадником и пособником, это я знаю и этому верю, – она взглянула искоса на сидевших в другом конце стола собеседников и закончила тихо: – И убеждена еще в том, что ты нелицемерно предан отчизне.

Мазепа не успел и поблагодарить своего друга за доброе о себе мнение, как дверь в покой отворилась, и в нее поспешно вошел озабоченный гетман в сопровождении Кочубея.

– Панове! – заговорил гетман взволнованно, опускаясь в свое кресло. – Я получил сейчас чрезмерно важные вести: одни благоприятны и тешат сердце надеждой, а другие тревожны и заставляют нас немедленно принять против них меры.

– Что? Что такое? Какая беда? – заговорили все возбужденно.

– Пан Гострый, друзья мои, – продолжал с одушевлением гетман, – предуготовил союз нам с Многогрешным и в главных пунктах примирил наши желания. Теперь мы не одни, гони-

мые со всех сторон и врагами, и братьями, теперь мы через Днепр подали брат брату руки и сытый дид Славута стал обоим нам снова родной рекой! – Гетман простер вверх руки и произнес глубоко тронутым, дрогнувшим от слез голосом: – Господи, сниди с небес и посети виноград сей, его же насади десница Твоя!

– Аминь! – произнес торжественно Богун, и все, охваченные приливом религиозного экстаза, набожно встали.

– Да, – произнес после небольшой паузы гетман, – Господь это внедряет в сердца братьев любовь... Только и враг человеческий не спит и на Божьей ниве вырывает хорошие зерна, а вместо их сеет плевелы... Полковник и гетман пишут мне про Ханенку.

– Про Ханенку, – перебил Богун, – этого Каина?

– Он и несчастного Юрася Хмельницкого завлек в свои сети, – заметил Кочубей, – и безумец угодил в константинопольскую тюрьму «Эдикуль»...

– Да мы его два раза разбили наголову, и он едва удра на Запорожье, – заговорил Мазепа, пропустив без внимания сообщение о Юрасе, – да и там, верно, не поздоровилось, потому что оттуда махнул в Крым... и неужели опять вынырнул?

– Видишь ли, пане Иване, – заговорил снова гетман, и в голосе его послышались ноты упрека, – когда тревога пошла, что Ханенко в Умани, мы стянули все войска и двинулись ему навстречу, но в Умани его не оказалось... Ты вот и начал меня уверять, что слух о Ханенко был ложным, марным, что пущена была брехня, ты говорил, что этой змее уже не подняться: Запорожье его не примет, так как он слыгался с татарами, а татар он больше не поймает на удочку, потому что не похвалит Высокая Порта... Мало того, ты находил лишним оставлять на рубеже сторожевые полки, и я только сам настоял... а вот теперь этот Ханенко ожил, да еще какие затевает каверзы!

– Я не думал, чтобы он был так безумен, и в этом ошибся, – ответил почтительно, но с достоинством Мазепа, – но что он может затевать, на что он может опереться? И прежние его затеи на песке строились, а новые вилами по воде писать станут?

– О, новые, коварные! – воскликнул гетман, ударивши энергично рукой по столу. – Он подыгрывается к московскому царю, бьет челом ему в подданство и Правобережной Украиной, а для борьбы с врагами предлагает татар, которых будто он уже договорил для Москвы.

– Это хитро, лукаво, – протянул уныло Мазепа, – хотя Москва и отрешивается от нас, боясь втянуться с Польшей в войну. Имея за собой силу татар, можно отважиться, – а кусок соблазнительный... Однако везде костью в горле стоят татары: если никто, даже сам падишах, не укротит их разбойничьих потягов (стремлений), то тогда... – Мазепа сразу умолк, поймав укоризненный взгляд Дорошенко.

– А он еще, этот аспид, – прервал раздражительно гетман, – пускает слух везде, а особенно среди черни, что мы будто поддались совсем туркам, побасурманились...

– Да, – вмешалась в разговор Марианна, – этот слух упорен и с каждым днем больше и больше растет, народ смущается, ропщет, видя в этом незамолимый грех... даже отца моего потревожили эти слухи, хотя он им и не верит.

– А Ханенко распускает слухи, – отозвался Андрей, – и они прививаются... Он даже доносы посылает и про то московскому царю.

– А как же! – воодушевлялась Марианна. – На той неделе поймали у нас двух послов его... отец задержал и отправил с бумагами их к Многогрешному... У них было еще воззвание ко всем христианам против нарождающегося антихриста, то есть – против твоей милости...

– Да мне Остап говорил, – прибавил вдруг Кочубей, – что и у нас по корчмам говорят вслух и о побасурманении, и об антихристе.

Гетман взглянул на него и помертвел от ужаса: неужели кругом уже кричит и восстает народ, а он ничего не знает? И как еще он, антихрист, жив? Как не нашлось благочестивых? А

может быть, уже... И заметив, что его растерянность замечена всеми, заговорил как-то неловко, обратясь к Марианне.

– Мне, кроме того, пишет отец твой, что и на Многогрешного был сделан донос, и кому же – патриарху! И тот отлучил гетмана от церкви. Это так расстроило Многогрешного, что он даже слег в постель.

– И это дело Ханенковых рук! – вскрикнул Богун. – Бей меня сила Божья, коли не так... Подлизывается, пес, к Москве, манит ее татарами, а по дороге брешет на обоих гетманов, чтобы их смести и самому захватить обе булавы.

– Совершенно правдоподобно, – подтвердил Мазепа. – Но эти все обстоятельства настолько тревожны, что требуют немедленно противодействия... *Tempus brevis est*, – нужно обдумать все, выяснить и решиться открыто пойти к намеченной цели.

– Да, обдумаем, обсудим все, друзья мои, – промолвил упавшим голосом гетман, словно придавленный запутанною сетью невзгод. В последнее время энергия у него стала иногда пошатываться, и он сразу поддавался временному бессилию, переходившему иногда в уныние, а иногда в раздражение; к счастью, впрочем, такое настроение у него длилось недолго и при первой нравственной поддержке проходило.

– Да, одному тяжело, не под силу, – вздохнул он опечаленно, – одолели и враги, и напасти.

В это время отворилась дверь, и молоденький джура доложил звонким голосом:

– Ясновельможный гетмане! Найпревелебнейший владыка прислал своего келейника оповестить твою милость, что святой отец прибыл из Канева.

– Владыка, наставник и руководитель мой здесь? – сразу оживился гетман. – Это доброе знамение! Я сейчас к нему и упрошу прибыть ко мне. А вы, друзья, оставайтесь и ждите. Вместе со святителем составим раду и примем от него благословение на благой и нерушимый почин...

Полночь. Весь замок Чигиринский погружен в мрак и покой; не видно нигде ни угрюмых сердюков с алебардами, ни вертявых суetyащихся джур, ни прислуги... Все спит, все покои пусты и закрыты, за исключением лишь угловой, отдаленной светлицы, в которой гетман запирается иногда для отписки бумаг или тайных переговоров с послами; но и в этой укромной светлице дверь тщательно закрыта, а на окна, притворенные извне ставнями, спущены еще тяжелые, в виде драпировок, ковры; кроме окон, вся эта светлица – и пол, и двери, и стены – разубрана тоже коврами, и звуки говора тонут в их пушистом ворсе, не проникая наружу; всякое любопытное ухо напрасно бы здесь прикивалось к стене или к дверям, – не выдали бы они ему никакой тайны. Теперь в этой светлице, освещенной тремя свечницами, каждая в пять восковых свечей, было торжественное собрание самых близких и преданных гетману друзей; обсуждались на этой раде важнейшие вопросы тогдашней политики, – решались судьбы Украины. Все собравшиеся понимали высокое значение этой минуты, и потому в выражениях их лиц отражалась какая-то торжественность, а в речах слышались сдержанность, вдумчивость и глубокое самообладание. Ни фляг, ни сулей, ни ковшей не видно было на обресе (скатерть), покрывавшем длинный стол, а вокруг него стояли лишь с высокими прямыми спинками кресла с мягкими подушками, положенными на сиденья; на них и разместились советчики – радцы. Кроме знакомых нам лиц: Дорошенко, Богуна, Мазепы, Кочубея и Марианны, допущенной к раде по особому уважению к ее заслугам, – теперь на первом почетном месте восседал вновь прибывший превелебнейший митрополит Иосиф Тукальский. Бледное, худое, с запавшими щеками лицо его было обрамлено серебристой бородой, лежавшей пушистым веером у него на груди и достигавшей до панагии; вся тщедушная фигура владыки навевала мысль, – что жизнь уже отошла от старца далеко, что чужды стали ему суeta и тщета мирских треволнений, что преддверие загробной жизни уже осенило его крылом; но странно всему этому противоречили его глаза: темные, блестящие, прикрытые резкими дугами черных еще бровей, они горели умом и жизненной силой, способной воспламенять людские сердца. Митрополит был облачен в белую, с радужными поперечными полосами длинную мантию, на голове у него была белая

же бархатная остроконечная скуфейка с бриллиантовым, на верушке, крестом; от скуфьи спало волнистыми складками на плечи и на спину длинное белоснежное покрывало.

– Святейший отче, – говорил с благоговением Дорошенко, – разреши мне сомнения мои своим боговдохновенным умом относительно союза с неверными агарянами. Этим союзом враги мои замышляют на мя, сеют злостные слухи в народе, возбуждают гневом сердца его, куют среди напастников наших супостатские замыслы, ополчают соседей на истребление нас и расхищение народа. А между тем я, грешный, вижу в этом союзе единую опору для спасения родины, единый щит от гонителей наших. Рассуди, превелебный владыка, и вы подайте голос, мои верные друзья! Вся Украина, вся родная наша страна брошена Богом, она, как горох на раздорожье, кто идет мимо, тот и щиплет, и никакой ограды не дал ей Господь от напастников, не отделил ее от них ни высокими горами, ни непролазными болотами, ни морями, а окрыл ее ширию да гладью, – гуляй по ней, катись покатом куда хочешь.

– Истину глаголеиш, – вздохнул архипастырь.

– Щира правда, – повторил тихо, словно эхо, Богун, и все легким движением голов подтвердили его мнение.

– Так могла ли при таком беззащитном положении отстоять свои права наша Русь? Жить нам самим, без покровителя и защитника, – невозможно. Кого же нам избрать себе за протектора? Польшу? Мы к ней и были прикованы судьбой больше столетия... И чем это кончилось? Расхищением нашего добра, обращением нас в быдло, в скот подъяремный, попранием веры. Да, – поднял голос взволнованный гетман, – Польша, угнетавшая и ныне гнетущая нашу грецкую веру, ненавидящая нас, изверившаяся в клятвах, никогда, во веки веков, не будет нам покровительницей и опекуницей; она вечно будет стремиться поглотить нас, стереть наше имя с лица земли, и народ до дня Судного уже к ней не пристанет: недаром же он за освобождение от ига ее напоил своею кровью всю землю! Ну, от Польши освободился Богдан и выбрал себе новую покровительницу, Москву, и мне самому казалось и кажется, что лучшего покровителя нам и не нужно: и кровь родная, и вера единая, и общая мать у нас – град святой Киев... да вот горе: единокровная и единоверная Москва от нас одцуралась; мы отданы на съедение Польше...

Выбрать Москву, – продолжал после паузы Дорошенко, – эх, яко бы то! Но она, из боязни войны с Польшей, от нас откажется... Итак, как видите, нам промышлять нужно самим о себе, и коли желаем сохранить свое бытие, то должны таки опять поискать другого себе союзника-покровителя. Остался еще сосед один – Крым. Но что такое Крым? Сильное ли царство, крулевство? Разбойничье гнездо, нестройные орды хищников – и только... ни порядку, ни законов, ни власти державной там нет!.. Мурзы своевольны... и султан подчинить их себе безвладен: как ему остановить их грабеж, коли это единый для татарвы промысел?.. Значит, протекция Крыма для нас не годна – и по бессилию его, и по несправии, и по вероломству... А потому одно нам остается: выбрать в союзники и защитники не сумежное царство, а дальнее какое-либо да надежное. Таким царством я считал и считаю Турцию! С тобою, святой отче, я беседовал о сих справах и заключил даже первоначальный союз с Оттоманской Портой, но теперь, ввиду всяких набрегов, обсудите этот вопрос: или мне укрепить союз с Турцией, или поломать его? Видите ли, найпревелебнейший владыко, и вы, мои друзи: Турция отделена от нас морями и никогда не замыслит ни присоединять нас, ни поглощать, ни отурчивать, – что мы можем видеть на Волынщине и Мультанщине, а корысть союза для нее будет состоять лишь в наших войсках, которые мы обязаны будем давать ей на помощь при ее войнах, за то же и она нас защитит сможет от наших врагов. А в нашу веру турки никогда не вмешаются, и под их санджаком можно будет устраивать свою хату и укреплять в ней свою правду и волю как знаем.

## Х

У Кочубеев уже стол был накрыт белоснежной скатертью и уставлен кубками, мисками, полумисками, разного рода флягами, изображавшими и барана, и пороховницу, и запорожца на бочке, с возвышавшимся посредине серебряным жбаном.

Молодой хозяин сидел с приглашенным к обеду приятелем Мазепой на отдельном длинном диване, застланном роскошным косяком (ковер), и ждал с нетерпением свою жену и гостью. Наконец дверь отворилась, и на пороге ее показалась стройная фигура Марианны; сегодня, после хорошего отдыха, панна сверкала своей величественной красотой, и лицо ее дышало здоровьем, а глаза искрились какой-то внутренней силой; этот бархатный, темно – малинового цвета кунтуш удивительно шел к ней. Строгий наблюдатель заметил бы, что сегодняшним нарядом, до мелочей, руководил тонкий вкус и невольное желание женского сердца произвести приятное впечатление.

И действительно, Кочубей и Мазепа, особенно последний, были просто опьянены от восторга.

– Пышная панна доставила мне такую честь и совсем ослепила мой убогий курень своим великолепием, – произнес несколько напыщенно Кочубей и подошел к ручке.

Мазепа ничего не сказал; но по озарившемуся радостью его лицу видно было, что он был восхищен еще искреннее.

– А пан не служил при польском крулевском дворе? – спросила с улыбкой Марианна.

– Нет, Бог миловал, – засмеялся в свою очередь Кочубей.

– А я бы подумала, что пан только что из Варшавы; меня бы в том уверили и лестные речи, и залеты (ухаживания, комплименты)...

– Ошалел, – заметил Мазепа, подмигивая весело на Кочубея.

– Уж кто бы говорил, а кто бы молчал, – вступилась за своего мужа Саня.

– Э, да вы все, вижу, в добром гуморе, – махнула рукой панна, – ну, и отлично; мне самой страшно весело, и я так рада, – обняла она вдруг неожиданно и пламенно Саню. – Да какое же у вас прелестное гнездышко! А пан называет его шалашом! Ай, ай, так обидеть свою дружину! Да тут так хорошо и уютно, что глаз не отвести: и эти квитки, и эти голубки, и эти писанки – ведь все это дело золотых рук Сани!..

– А коли панна так хвалят мою хозяйку за убранство светлицы, то не осрамись же, жинка, обедом... Вели подавать для дорогих гостей все, что ты припасла... да проси, чтоб не огудили, снизили бы.

Вскоре на столе появились дымящиеся аппетитные стравы. Обед прошел весело, шумно; дружескому, сближающему сердца настроению способствовало немало и ароматное содержимое фляг да пузатого жбана. После обеда позвали Кочубея к гетману, а Мазепа остался с Марианной. Саня хлопотала по хозяйству без устали, появлялась в светлице лишь метеором и занялась, наконец, в кухне приготовлением какой-то удивительной варенухи. Марианна с Мазепой весело болтали, избегая щекотливых вопросов прошлого; но Марианна, улучив удобную минуту, оборвала шуточный тон беседы и обратилась к своему другу с следующим:

– Мне хотелось бы искренне поговорить с тобой о вчерашних решениях... Мне, не знаю почему, но что-то сердце гложет, никак оно примириться не может с бусурманами... Я все ждала от тебя разъяснений, но ты как будто прималчивал.

– Д-да, пожалуй, – замялся Мазепа, не ожидая такого оборота речи, и даже растерялся, словно застигнутый врасплох учителем хлопец, – то есть оно не так... а просто, когда иного изворота в скрутный час (безвыходное время) нет, то я не люблю даром тратить слово... да и тягаться с такими постановами, как святого владыки, не под силу – и надорваться можно.

– Ой, ты не говоришь широко, – вспыхнула от досады Марианна. – Я никогда не поверю, чтоб ты кленчил (колени преклонялся) перед думками значных лиц. А во-вторых, в важных делах прежде всего нужна правда, потому что от нее только и можно ждать настоящего добра и корысти.

– Видишь ли, Марианна, – покраснел от обидного подозрения Мазепа и напряг все усилия, чтобы взять себя в руки. – Говорю-то я широко, от неподкупного сердца: для того, чтобы добиться правды, утвердить ее, нужно выиграть время и найти для нее удобный – слушный – час; не всегда резкая протестация достигает желанной цели; она вызывает, по большей части, упорство в другой стороне и тем подслуживается кривде: безумно идти болотом, коли можно найти окольную, но верную дорогу.

– Но ведь эта окольная дорога может быть так длинна, что пока по ней доплуганишься, так и потреба прошла, и зло уже стало непоправным.

– И тут, любый друже, – говорил уже все увереннее и увереннее Мазепа, овладевая совершенно собой, – нужно сначала все выведать, высвидчить, – и удобство, и длину дорог, и силу зла, и необходимую быстроту помощи, – тогда, взвесивши все, можно и отважиться на кратчайший путь через трясины. Ты смущена союзом с Турцией; по-истине, я сам еще ничего не могу сказать злого про этот союз: для настоящего ведения этой sprawy многое еще неизвестно. Сердце-то и у меня самого лежало бы больше к союзу с единоверным и единоправным панством, да не всегда сердце говорит правду.

– Нет, сердце всегда говорит правду, – запротестовала горячо Марианна, – его не подкупишь, разум-то может придумать всякие извороты, может затуманить так голову, что и белое покажется черным, сможет, значит, одурить чужой ум и око, а вот сердца-то не обманет, не одурит.

– Ой, друже! Как часто и сердце обманывается! – вырвался у Мазепы горький вздох, удививший даже Марианну. – Но вот обратимся ко вчерашней раде, – зачастил он, желая скрыть прорвавшуюся сердечную боль, – мне кажется ясно и непреложно, что Украина без протекции существовать не может, что интересы всякого ее соседа – протектора будут клониться к полному ее поглощению и что, значит, корыстнее для нас протекция далекого царства, которое сам Господь отмежевал от нас широкими морями.

– Да ведь если через широкие моря трудно делать напасти, то так же трудно подавать и помощь, а кроме того, бусурмане никогда не будут желать добра христианину, который для них хуже собаки... Да этим нехристям сам закон их незаконный велит истреблять неверных, искоренять со света Божьего... Так разве можно верить их слову? Да эти дьяволы продадут нас первому встречному за бакшиш.

– Ты права, верить неверным нельзя, они вероломны, но это вообще относится к простым ордам, у которых нет интересов державных, а у всякой державы есть свои потребности, и ради этих потреб она и ненавистных врагов, и презренных собак обращает в своих союзников. Для Турции опасно усиление Польши или Московии; и та, и другая могут подорвать в конце концов ее могущество, а еще особенно, если эти царства когда-либо сплетут руку с рукой, – тогда бусурманству смерть! Так для Турции важнее, чтоб была меж этими двумя державами страна, да еще подвластная ей союзница.

– Это так, – после минутной вдумчивости согласилась Марианна, – у тебя, Иване, ясный разум, в силе его я не ошиблась!... – При этих словах матовая бледность ее щек осветилась едва заметным румянцем. – Она и меня покарает! Хотя опять-таки, кто может заверить, что сама Турция смотрит так на свои потребности и серьезно для своих интересов ищет с нами союза?

– Вот это-то и есть неведомое, незнаемое, – вздохнул Мазепа, – и тут только опыт может вразумить нас. Что татарва лишь грабежник и не слишком-то повинуется своему державному владыке падишаху, то это мы уже знаем, а вот сама Турция как будет держать договор и как скоро будет являться на помощь союзникам, этого мы еще не изведали... Посмотрим! Конечно,

если ее помощи не докличешься, если пока взойдет солнце – роса очи выест, то этот союз ни к чему: а если и придут союзники да станут своих же спильников грабить, то такой союз будет уже страшной бедой... Всякий кол, выходит, о двух концах.

– Оттого-то мое сердце и ноет, словно чувствует, что не ждать нам от гонителей святого креста доброго конца.

Мазепа смолк. Тяжелое раздумье упало на собеседников и придавило их насунувшейся нудьгой.

– Ох, не сладко сироте искать себе приемного батька, – заговорил печальным тоном Мазепа, – но ничего не поделаешь... Конечно, у меня у самого лежит больше сердце к Москве...

– Да, друже мой, это вернее, чем с бусурманами, клянусь тебе, – заговорила горячо Марианна, воодушевляясь идеей Мазепы, – пусть над нами будет лучше Москва, чем поганая Турция или ненавистница Польша... Ах, и знаешь что, – сжала она порывисто руку Мазепе, – один только ты сможешь это сделать, один только ты! Я этому глубоко верю!

Мазепа был до глубины души тронут этим сердечным порывом Марианны; в нем сказалась и глубина любви ее к своей родине, и высокая вера в него, все это разбудило в его груди целую бурю мятежных чувств; он не мог разобраться в этих набегающих волнах ощущений, но чувствовал, что они подымают его, что они наполняют радостью и гордостью его сердце, снимают с него покров печали и сиротского отчуждения.

– Спасибо тебе, дорогая, коханая панна, найсердечнейший друг мой на свете, – ответил дрогнувшим голосом Мазепа, – спасибо за твое ласковое слово ко мне и за твою пламенную любовь к нашей няньке... Клянусь тебе, что судьба ее и для меня дороже моей жизни!.. Но чтобы я, лишь только я смог... Это тебя обманывает слепая дружба... Есть и другие, крепкие умы... да, наконец, чтобы направлять судно, нужно стоять у руля...

– И ты будешь кормчим! – воскликнула пророчески Марианна и величественно поднялась, словно желая венчать его на царство.

– Что ты, сестра моя, друже мой! – отшатнулся Мазепа, закрыв даже лицо от неотразимого соблазна, – не мне, не мне о том мечтать!

– Тебе и не мечтать, а честно стремиться! – промолвила строго Марианна, и в ее голосе, в ее позе и повелительном жесте руки было столько обаятельно властного, что Мазепа почувствовал даже священный трепет в своем сердце.

– Ты ли пророк мой, посланный с неба? – воскликнул он в опьянении и благоговейно поцеловал протянутую руку Марианны...

Марианна осталась еще погостить в Чигирине впредь до получения ответа от Гострого, к которому сейчас же гетман послал гонца. Побежали веселые дни, полные доброй деятельности и суетливого труда: писались письма, обдумывались мероприятия, снаряжались гонцы и послы, ополчались войска; лица у всех были озарены оживлением, и глаза смотрели смело вперед: чувствовалось, что цель в пути найдена, что попутный ветер поднялся и корабль окрыляется, поднимая торопливо и дружно все паруса.

Марианна тоже приняла деятельное участие в переписке и отписке, так что Дорошенко не раз замечал Кочубею:

– Эй, стерегись, пане, новый подписок мой тебя за пояс заткнет!

– А что же, за такой панной не угоняешься, – разводил руками Кочубей, – уж и женка моя боится, чтобы панна полковникова не отбила у меня должности.

Мазепа был с утра до ночи занят. Дорошенко хотел было его послать немедленно в Москву, но Мазепа уклонился от этого, заверив гетмана, что нужно предварительно подготовить Думу царскую и послать к тамошним влиятельным людям и письма, и подарки, а потом уже он двинется закрепить справу. Так и сделали: в Москву был отправлен Гамалий, а Мазепа

остался в Чигирине направлять и вершить внутренние мероприятия. С Марианной они встречались часто и перебрасывались дружескими словами: для долгих бесед не было времени, а если и выпадал иногда свободный часок, то он тратился на обмен деловых, практических мыслей. Впрочем, ни та, ни другая сторона и не искали случая для излияний сердечных: дружеские отношения между ними были закреплены, а вера друг в друга и в грядущее открывала перед ними светлую даль, связывавшую их единством пути... Загадывать, что будет дальше, стремиться определить точнее свои отношения никому не хотелось, и отраднее было, не расправляя старых ран, врачевание которых предоставлено было времени, дружно и бодро идти в общей работе вперед, веря себя всецело своеволию слепой доли...

Дней через десять возвратился гонец от полковника Гострого с обширными письмами и к гетману, и к Марианне; последнюю вызывал батько к себе, чтобы поспешила вернуться и для помощи ему, и для разъяснения некоторых вопросов, которые он из писем понять не мог. Мазепа вызвался проводить панну к самому полковнику, так как он лично мог изложить все гораздо лучше, чем всякая бумага, да, кроме того, и поразведать всю подноготную о Многогрешном, впредь до получения из Москвы предварительного ответа.

В тот же день Марианна, взявши благословение от святого владыки, отправилась с Мазепой, во главе небольшого отряда, в путь. Прощание Сани с ней было особенно нежное; Кочубеиха полюбила панну полковникову, как родную сестру, и все намекала, что прощается только на время, что весь гетманский двор будет по ней тосковать, что ее светлый ум всем здесь приносит отраду, а некоторых и опьяняет, что, во всяком случае, без нее здесь не жить! Марианна с снисходительной улыбкой выслушала эти излияния Сани и подчеркнула, что принимает их лишь за любезность и шутку, обняла тем не менее горячо своего нового друга и обещала когда-нибудь завернуть в Чигирин, а коли кто соскучится по ней, то пусть доставит ей великую честь и радость, посетив ее лесное убежище.

Сам гетман с придворной своей дружиной провожал гостью до самого Днепра и здесь, выпивши на пароме уже последний подорожный кубок, обнял ее и пожелал успехов в достижении их общих заветных желаний. Когда паром тронулся, все перекрестились, замахали шапками и с криками: «Счастливо дай, Боже!» выпалили из рушниц на виват и на ясу<sup>2</sup> грядущей победе.

---

<sup>2</sup> Салют.



## XI

В хате Остапа все дышало, по обыкновению, счастьем и покоем. Подложивши под голову руки, Остап лежал на лаве и наслаждался своим послеобеденным отдыхом. Орыся сидела у окна и вышивала ему тонкую сорочку, время от времени она опускала на колени работу и останавливала на Остапе нежный, любящий взгляд.

Между супругами шел дружеский разговор.

– А что, Остапе, уехала уже Марианна? – спросила, не отрываясь от шитья, Орыся.

– Уехала.

– А Мазепа?

– Да он поехал с отрядом провожать их, сегодня, верно, вернется назад.

– У ней же были с собою казаки и атаман их надворной команды?

– Ну а все-таки для большей безопасности.

– Нет, не то, Остап! – Орыся глубоко вздохнула и опустила работу на колени. – А кажется мне, что пан Мазепа уже забыл нашу Галину... Все он с этой Марианной, на нее только и смотрит. И тогда еще, помнишь, – эх! уже больше как полтора года минуло! – она приезжала к нам с ним в Волчы Байраки, да как увидела Галину, как увидела, как Мазепа ей обрадовался, – побелела, как стена, едва не упала. Я тогда сразу и заметила, что она, эта Марианна, в Мазепу нашего закохана. А теперь вот сюда опять даром она приехала? Для того и приехала, чтоб закохать в себя Мазепу. Ну, что ж, и привлечет, причарует. Куда ей было, бедной нашей Галине, и живой бороться с этой пышной панной, а теперь уже мертвой... – Орыся махнула рукою и прибавила с глубоким вздохом: – А ведь как любила его, Господи!

– Ну, любит, кажется, и эта не меньше: ведь она его от смерти спасла.

– А Галина? – произнесла живо Орыся. – Разве она его не выходила, разве не смотрела за ним, как мать за ребенком?

– Кто говорит?

– Такая от вас благодарность и честь. – Орыся вздохнула и отерла глаза рукавом.

– Орыся, ты плачешь, голубка? – вскрикнул Остап и поднялся с лавы.

– Галину, бедную, жалко... Эх! уж как обещался он ей, что ее одну любить будет, что никогда, никогда... А теперь вот...

– Так что ж тут, Орыся? – произнес с замешательством Остап. – Ведь полтора года уже минуло, как не стало Галины.

– Так уж и забыть пора?

– Да нет, не забыть, а так ведь... живой о живом думает.

– Вот то-то такая ваша правда! – вскрикнула горько Орыся. – Вижу я, что и ты такой же; тоже ведь как присягался, что меня одну любишь, а вот умру, так, верно, и сорокоуста не дождешься, а возьмешь повенчаешься с какой-нибудь кралей.

– Я? Да Бог с тобой! Чтоб я такое когда сделал? Да никогда на свете! Да мне, кроме тебя, ни на кого и смотреть не хочется, вот хоть провались я сейчас на этом же самом месте!

Но на Орысю не подействовали эти пламенные уверения.

– Что там говорить, – произнесла она, махнув рукой, – все вы на один построй!

В одну минуту Остап вскочил с лавы и очутился рядом с Орысей. Несмотря на настойчивое сопротивление, он охватил ее рукою за талию и притянул к себе.

– Так ты и мне не веришь?

– Не верю.

– Хоть я тебе и присягаюсь?

– Хоть и заприсягнись.

– Так вот же я тебя заставлю поверить!

С этими словами Остап прижал к себе ее голову и принялся покрывать опечаленное личико Орыси самыми нежными поцелуями. Орыся сначала слабо сопротивлялась, но поцелуи Остапа были красноречивее его слов... Таким образом, ни Остап, ни Орыся не заметили, как в сенях раздались шаги, как затем отворились двери хаты и на пороге остановился Кочубей. При виде нежно целующихся Остапа и Орыси он разразился громким хохотом. Звук этого смеха заставил их оглянуться. Орыся взглянула на Кочубея, вскрикнула и, залившись вся багровым румянцем, в одно мгновение отскочила от Остапа; последний тоже поднялся навстречу Кочубею с смущенной улыбкой.

– Добрыдень вам, панове! – произнес Кочубей, кланяясь, – все еще воркуете? И не надо-ело еще до сих пор?

– Да это, пане подписку, все Остап, ей – богу, – заговорила торопливо Орыся, отодвигая от стола лавку, – садитесь, садитесь, дорогим гостем будете.

– Все Остап? – левая бровь Кочубея лукаво приподнялась.

– Да так... ей – богу... вот еще! Чем потчевать прикажете, может, наливочки, медку, а то. запеканки. Я сейчас внесу, – продолжала она быстро – быстро, даже не переводя дыхания.

– Гай – гай, пани сотничиха! – покачал головой Кочубей. – Здорово, я вижу, ты умеешь зубы заговаривать!

– Ого! Она у меня такая, – поддержал Остап с улыбкой Кочубея, – хоть и турецкого султана, а одурачит.

– Туда же, пан! – улыбнулась Орыся и повела плечом. – Садитесь, садитесь же, панове! – зачастила она опять. – А я побегу, да запеканочки внесу!

И Орыся хотела было уже броситься из избы, но Кочубей удержал ее движением руки.

– Нет, нет, пани, на этот раз спасибо, не турбуйся, я только на одну минутку, за чоловиком твоим пришел.

Кочубей сел за стол, против него занял место Остап, Орыся остановилась подле.

– Видишь ли, пане сотнику, только что донесли нам селяне, что в окрестностях Чигирина проявились татары, так гетман приказал, чтобы ты взял своих казаков, да я еще прихвачу с собою, да чтоб мы сейчас же и отправились разведать, какие это татары и зачем здесь появились, и если это какой-нибудь загон, так приказано нам, чтобы мы отжахнули его хорошенько!

– А ехать когда же?

– Да вот сейчас, – ответил Кочубей и прибавил с улыбкой: – Если только пани сотничиха отпустит.

– А что я ему за полковник? – рассмеялась Орыся.

– Известное дело, жинка всякому человеку голова, – подмигнул Кочубей и поднялся с места.

Через полчаса небольшой отряд, во главе которого находились Остап и Кочубей, уже выезжал из города. Деревня, разоренная татарами, находилась верст за 30–40 от Чигирина. Было уже часа три, когда Кочубей и Остап прибыли туда. Деревни уже не было: вместо нее лежали только груды холодного пепла с торчащими из них то там, то сям обуглившимися черными обломками столбов. Несколько обгорелых трупов валялось среди развалин. Ни одного человеческого существа не видно было кругом, ни один звук не нарушал этой тишины: мрачное братское кладбище было безмолвно и безлюдно, но, несмотря на это, оно красноречиво свидетельствовало окружавшим его казакам о тех гостях, которые погуляли здесь. Несколько минут Остап, и Кочубей, и все казаки стояли молча, потрясенные видом этой руины. Наконец Кочубей отдал казакам приказание рассыпаться по всем окрестностям, обыскать все лески, балки – нет ли где успевших спрятаться от татарского погрома поселян, чтобы узнать от них, какие это были татары, в каком числе появились, откуда и куда ушли? Казаки отправились исполнять его приказание, а он сам остался с Остапом на месте поджидать их возвращения.

– Должно быть, большой загон был, – обратился к нему Остап. – Душ сто, не меньше.

– Д-да, – отвечал задумчиво, словно рассуждая сам с собою, Кочубей. – И кто бы это был? О Ханенке ничего не слышно, да и не наважился бы он так близко к Чигирину подъезжать. Опять если бы какая-нибудь новая орда появилась, так уже давно услышали бы мы... а то под самым носом, словно с неба свалились...

«А может, это из Белогородской орды какой-нибудь загон?» – подумал он про себя, но этого предположения вслух не высказал.

– Должно быть, вчера еще, а то и раньше, усакали, – добавил Остап, – вон пожарище и не курится совсем.

– А ну-ка, в самом деле, пойдем да посмотрим, может быть, какой-нибудь татарин остался на месте, так по чалме можно узнать.

Кочубей и Остап соскочили с коней и отправились по бывшей улице деревни. Они осмотрели несколько обгоревших трупов, но все это были старики или старухи, очевидно, татарина ни одного не осталось на месте.

– Гм... даже и не сопротивлялись, – произнес сквозь зубы Кочубей и принялся разгребать одну из громадных куч пепла.

Разгребли так две – три кучи и, увидев, что они были совершенно холодны, Остап и Кочубей убедились в том, что набег произошел, вероятно, дня два тому назад.

Тем временем возвратились казаки и сообщили, что, несмотря на самый тщательный осмотр, нигде в окрестностях деревни нельзя было найти ни одного человека, – очевидно, что, если и уцелел кто-нибудь от этого погрома, то успел найти приют в какой-нибудь соседней деревне.

– Гм... что ж еще теперь делать? Так, наобум ехать, бог знает куда... Надо разведать, – произнес задумчиво Кочубей и, подумав с минуту, он прибавил громко: – На коней, хлопцы! Пройдем еще вперед версты три... Тут, я помню, есть корчма, там разузнаем.

Казаки поскакали. И Остап, и Кочубей ехали молча. Видно было, что картина разоренного и сожженного села произвела на них удручающее впечатление.

Через некоторое время на дороге показалась большая, хорошо отстроенная корчма.

– Вот и отогреемся, и разузнаем все! – произнес с удовольствием Кочубей.

Казакам приказали остановиться подле корчмы. Кочубей и Остап, передав своих коней, направились к самой хате. Еще вступивши в сени хаты, они услышали громкий взрыв хохота, прокатившийся по всей корчме.

– Ого, там весело? – заметил Кочубей.

– Любопытно знать, кто это так смешит людей? – ответил Остап и отворил дверь.

В корчме было довольно много народа, по преимуществу это были все поселяне; только за одним столом сидел какой-то высокий смуглый казак в богатой одежде, рядом с ним сидело еще душ пять казаков. Ни казак, ни его соседи не были знакомы Кочубею, но наполнявший корчму народ относился к нему очевидно с полным доверием и почтением. Все поселяне группировались вокруг его стола; одни сидели, другие стояли, видно было, что центром и душой всего собрания и был этот смуглый казак. Судя по оживленным лицам окружавших его слушателей, по неуспешному еще совсем умолкнуть смеху, видно было, что среди собравшихся шла веселая беседа, но едва только Остап и Кочубей переступили порог хаты, как по рядам пробежал какой-то неуловимый шепот, все переглянулись, смех умолкнул, толпившиеся вокруг казака поселяне разошлись по своим местам, – наступило неловкое молчание.

Озадаченные таким приемом Кочубей и Остап уселись за отдельным столом и потребовали себе по келеху меду.

Молчание продолжалось недолго, то там, то сям раздались снова отрывистые фразы; говорили все о новом набеге татарском; Остап и Кочубей насторожились.

Между тем высокий казак, пошептавшись о чем-то со своим соседом, обратился к ним громко:

– Доброго здоровья, паны товарищи! А чего уселись там отдельно? Пожалуйте к нам, сюда. В гурте, говорит пословица, и каша вкуснее естся. Гей, жиде, вина еще, я плачу.

– Спасибо тебе, пане – брате, за ласку, – ответил Кочубей, приподымаясь с места, – мы торопимся, заехали только на минуту, отогреться с дороги.

– Издалека едете?

– Да вот ездили в Стожки; донесли гетману, что татары появились и околицы пошарпали, так догнать хотели.

– Ну что ж, догнали? – спросило с живейшим любопытством несколько голосов.

– Опоздали, поздно донесли нам... они, видно, уже дня два тому назад ускакали из села.

– Мудрено было бы и догнать, – заметил, подморгнувши бровью, смуглый казак, – ведь они рассыпались по всем околицам, вот, говорят люди, и Зеленые Ставки, и Михайловку, и Черную Дуброву пошарпали.

– А как же, как же, – раздалось с разных сторон голоса, – и у григоровцев скот угнали, и в Пологах пустили красного пивня.

– Д-да, погано, братья, – произнес задумчиво смуглый казак и, обратившись к Кочубею и Остапу, добавил: – Так вы что же теперь думаете делать?

– А вот прежде всего хотим разузнать, какие это были татары и сколько их было, и если очень большой загон, то будем спешить в Чигирин, перескажем все гетману, чтобы скорей отряд в погоню высылать.

– Гм... так-то, оно так, догнать бы еще можно было б... – незнакомец закрутил на палец свой длинный черный ус и добавил значительно: – Да только дело в том, что это были татары из Белгородской орды.

– Ну так что ж, что из Белгородской! Присвятились они, что ли? Всякий басурманин – разбойник! Всякого басурманина бить надо! – крикнул запальчиво сидевший с ним рядом казак.

– Всякого бить надо, да не всякого можно, – усмехнулся незнакомец. – Белгородские татары наши.

– Наши! – вскрикнуло сразу несколько голосов с изумлением, ужасом и негодованием. – Да сколько еще свет стоит, такого мы не слыхали, чтобы проклятые басурмане нашими были.

– Ой, ой, как налякали! – продолжал с усмешкой незнакомец. – Кто вам говорит, что они наши братья или побратимы, конечно, нет, никогда в свете казацкая христианская душа с басурманской не сойдется, а наши они потому, что гетман их на службу нанял для обороны нас и нашего края.

– Уж лучше бы гетман чертей из пекла для нашей обороны нанял, чем этих проклятых басурман! – раздался чей-то злобный голос. – Оборонят они нас так, что останемся мы на зиму без хлеба, без хаты, как дикие звери!

– Гетман узнает, какая это свавольная шайка дозволила себе такое бесчинство. Сами знаете, во всяком войске могут быть напастники и свавольники.

Но довод незнакомца не показался собравшимся поселянам сколько-нибудь утешительным.

– Так что нам с того, что он узнает, кто разорил? Легче нам от этого станет, что ли? Нашел, кого для обороны нашей призвать! Тех, что сами грабят и разоряют весь край!

– Поставил лису курятник сторожить! – закричало сразу несколько голосов.

– Да ну вас! – даже отмахнулся рукою незнакомец. – Договор же у гетмана с татарами заключен.

– Договор! Станут они тебе смотреть на какой договор? Да разве можно с басурманином о чем уговориться?! Им и закон велит истреблять христиан! – закричало снова несколько злобных голосов.

Остальные поселяне молчали, но видно было по их угрюмым пасмурным лицам, что они вполне разделяют мнение своих товарищей.

Остап не принимал участия в этом разговоре, но чувствовал, что в душе он невольно соглашался с мнениями этих поселян.

Между тем вспышка народной ненависти, поднявшаяся от неумелого утешения незнакомца, не улеглась.

Кочубей нахмурился. Бестактное поведение незнакомца раздражало его. По всему видно было, что он сторонник Дорошенко, но... к чему это, например, вздумал он при таком скоплении озлобленного народа рассказывать, что набег сделала Белогородская орда, да еще уверяет крестьян, что она «наша»?

– Услужливый дурак опаснее врага! – проворчал про себя Кочубей и произнес громко с нескрываемой досадой в голосе: – Так что ж с того, что татарам закон велит истреблять христиан? Может, и корове ее закон велит бодать всякого, да умный хозяин постарается ей рога спилить и все-таки молоко с нее получить. Так и гетман никакого послушания и бесчинства белгородцам не позволит, а строго накажет виновных.

– Так они гетмана и послушают! Они и на самого шайтана не смотрят! – закричало сразу несколько озлобленных голосов. – Басурмане только грабежом и живут: станут они для вас свой закон переменять!

Кочубей хотел возразить что-то, но его перебил незнакомец.

– Э, нет, панове, стойте! – остановил он всех движением руки. – Теперь уже не то, что было прежде, коли они гетманского кулака не послушают, так гетман и султану турецкому напишет. Теперь, когда он с султаном в союз вошел, так у него эти голомозые вот тут сидят! – с этими словами он сжал крепко кулак и стукнул им по столу. При этом движении на мизинном пальце его сверкнул дорогой бриллиантовый перстень.

Но слова его не вызвали среди слушателей одобрения. Какой-то неясный глухой ропот раздался то там, то сям и умолк.

В душе Кочубея зашевелилось неприязненное чувство против этого несмысленного казака, каждое слово которого так удивительно раздражало народ.

– Да что там вперед загадывать, – произнес он с досадой, – до союза с султаном еще далеко, а что гетман с султаном раду радыть, как бы оборонить край от татар, так это верно.

– Какое там! – незнакомец махнул рукою и продолжал с восторгом: – Сам султан спит и видит, как бы всю Украину под свою руку принять. Он уже гетману нашему какие дары засылал: и туй, и санджак, и золоченый кафтан.

– Да что ты там мелешь, не во гневе будь твоей милости сказано? Поласится разве гетман на турецкие прелести? Продаст нас султану? – произнесли глухо и сдержанно несколько голосов.

– Эх вы! Простота неэдукованная! Продаст султану, поласится на турецкие прелести! – передразнил поселян незнакомец. – О вашем же добре и печется гетман. Да ведь у турецкого султана будете спокойно жить. С татарами побратаетесь...

Но ему не дали окончить.

– Ну, этого еще спокон веку не было и не будет! – вскрикнул гневно один из поселян, сидевший вдали. – Скорей огонь с водой побратается, чем мы с татарами.

– Хе – хе! А как вода зальет огонь, то и огонь с ней побратается. Ишь, раскудахтались, как квочки, татарин – поганин. А чем он поганин – и сами не разберут. Правда, разоряют они наши села, издеваются над христианской верой, загоняют наших жен и детей в неволю, ну, да это так, пока они нашими врагами считаются, а когда будем все под одним батьком, под турецким султаном, так тогда не посмеют.

Слова незнакомца, по – видимому столь благоприятные для Дорошенко, все более и более раздражали народ. Лица всех нахмурились; слышались произносимые сквозь зубы

угрожающие замечания, видно было, что только присутствие гетманских казаков мешало народному негодованию разлиться бурною волной.

– За здоровье ж ясновельможного гетмана! – вскрикнул незнакомец и, поднявши высоко свой стакан, встал с места и подошел к казакам.

Как только Остап заметил бриллиантовый перстень на руке незнакомца, он сразу привлек к себе его внимание.

Он уже не слышал слов незнакомца, он не мог оторвать глаз от кольца, но издали трудно было рассмотреть его. Теперь же, когда незнакомец подошел к их столу, он мог хорошенько рассмотреть это кольцо. Это был дорогой перстень, изображавший из себя золотую змею с драгоценною бриллиантовою головкой. Кольцо было, очевидно, с женской руки, так как казак носил его на мизинном пальце.

– Ну, так выпьем же за егомосць, панове! – продолжал незнакомец, чокаясь с Кочубеем и Остапом.

Казаки выпили.

– А славный у тебя перстень, пане! – произнес Остап.

– Да, хороший, – отвечал незнакомец, снимая кольцо и поворачивая его перед огнем.

Бриллиант засверкал сотнями огней.

– Жиночий? – усмехнулся Остап, указывая глазами на перстень.

– Дивочий, на сватання еду.

– Помогай, Бог! – произнес Кочубей, поднимаясь с места.

Вслед за ним поднялся и Остап.

– Куда же это вы так скоро, панове? – изумился незнакомец.

– Поспешать надо в Чигирин, – ответил Кочубей.

Казаки попрощались и вышли из корчмы.

## XII

– Нет сомнения, это проделали белгородцы, – произнес Кочубей, когда они с Остапом очутились на дворе корчмы. – Гм... Что же нам теперь делать?

– Как что? – Остап вспыхнул. – Лететь скорее к Белой Церкви, догнать псов и отбить всех бранцев.

Кочубей усмехнулся:

– Скорый ты, пане сотнику, а одного не сообразишь: раз то, что они уже дня два тому назад угнали людей, значит, мы уже их в дороге никак не догоним, а другое, и самое важное, что если это белгородцы, так нам с ними затевать схваток не приходится.

– Да не мы же затевать будем! Они первые набег сделали.

– Так гетман сам это дело и разберет, и велит им вернуть награбленное.

– Эх! – Остап досадливо махнул рукою. – Пока гетман будет разбирать да отписывать им, они будут самовольно грабить весь край. Когда б пугнуть их хорошенько, так отпала бы охота грабить и разорять народ.

– Все-то ты так с плеча, пане сотнику, решаешь, а забываешь, что они наши союзники.

– Союзники! – Остап горько усмехнулся. – Вот правду говорят люди, что уже лучше было чертей в союз пригласить, чем этих проклятых басурман.

– А как же бы ты оборонился от Ханенко, если бы не басурмане? – спросил Кочубей, направляясь к воротам. – Кто бы помог нам? Уж не ляхи же?

Остап замолчал; он не находил ответа на вопрос Кочубея, но вместе с тем, очевидно, и не соглашался с ним.

Молча подошли они к своему отряду; через несколько минут все они уже скакали по направлению к Чигирину. Кочубей ехал, угрюмо нахмурившись; сцена в шинке произвела на него крайне неприятное впечатление. И кто такой мог быть этот казак? По – видимому, верный человек, а между тем... Или дурень, или большой хитрец! – решил он про себя.

Остап тоже сосредоточенно молчал. Впрочем, на этот раз не печальное положение края занимало его мысли, – его исключительно занимало кольцо незнакомца. Проклятое кольцо!

«И чего это оно так засело у меня в голове, – думал про себя Остап, – видел я его где-нибудь или что?» – Остап перебирал в своей памяти все воспоминания, но решительно не мог понять: почему именно это кольцо обратило на себя его внимание и засело у него таким гвоздем в голове?

Между тем отдохнувшие кони бежали быстро, и часа через два перед казаками уже показались Чигиринские башни и стены.

– Ну, слава Богу, вот и доехали! – произнес вслух Кочубей. – А вернулся ли уже наш пан Мазепа?

– Должно быть, уже дома, – ответил рассеянно Остап.

– Гм... – Кочубей усмехнулся. – Сдается мне, что мы скоро заключим с правым берегом верный союз!

При этих словах Кочубея Остап вдруг вздрогнул. Густая краска залила ему лицо. Он схватился рукою за лоб и вдруг вскрикнул радостным, торжествующим голосом:

– Вспомнил! Вспомнил! Вспомнил!

Кочубей с изумлением повернулся к своему спутнику.

– Что? Да что такое?

– Кольцо, кольцо! – крикнул ему Остап и пустил своего коня вскачь.

– Какое кольцо? Куда ты? Постой! – закричал ему вслед Кочубей, но Остап уже не слышал его слов.

Доскакав до Чигиринского замка, он соскочил с коня и бросился в покои Мазепы. Мазепа был уже дома.

Он лежал, отдыхая с дороги, у ног его лежал верный пес Кудлай, не оставлявший теперь Мазепу ни на одно мгновение. Увидевши встревоженное, пылающее лицо Остапа, Мазепа схватился с места и поспешил к нему навстречу.

– Что случилось? Что с тобою? На тебе лица нет! – забросал он его вопросами.

– Кольцо! Кольцо! – произнес Остап, тяжело переводя дыхание.

– Какое кольцо? О каком кольце говоришь ты?

– Кольцо, которое я возил на хутор Галине... какое было оно?

При этом вопросе Мазепа побледнел.

– Змея золотая с бриллиантовой головой.

– А внутри, было ли что-нибудь вырезано внутри?

– Две руки: одна держит другую.

– Оно! Оно! – вскрикнул Остап.

– Ты нашел его?.. Ты видел его... где? когда?.. – Мазепа сжал обе руки Остапа, от волнения голос его пресекался, только глаза впивались в Остапа, словно хотели вырвать, вытянуть из него страстно ожидаемое объяснение.

В коротких, отрывистых словах Остап передал ему о своей встрече с незнакомым казаком.

– Где же он? – вскрикнул Мазепа.

– Там остался, в шинке.

– На коней! – скомандовал Мазепа. – Летим! Ты поедешь со мной.

В несколько минут лошади были оседланы, и Мазепа с Остапом понеслись сломя голову по улицам Чигирина. Кудлай, верный пес, вывезенный из разгромленного хутора, не оставлявший теперь ни на минуту Мазепу, тоже полетел вслед за ними. При въезде в Чигирин им повстречался Кочубей со своим отрядом; он хотел было остановить их и расспросить о причине странного возгласа Остапа и этой бешеной скачки, но они пронеслись мимо, как вихрь, так что изумленный Кочубей остановился в недоумении, следя за уносившимися товарищами.

На дворе быстро темнело. Лошадь Мазепы неслась стрелой, но несмотря на это, он то и дело сжимал шпорами ее бока. Он ничего не говорил. Лицо его было бледно, губы нервно сжаты... видно было, что все его существо потрясало мучительное волнение.

Всадники неслись в глухом молчании, только холодный, резкий ветер свистел над головами да вздымал их длинные плащи.

После двух часов такой бешеной скачки Остап и Мазепа достигли наконец корчмы. Соскочив с коня, Мазепа бросился в хату с такой поспешностью, что Остап едва поспел за ним. Но в корчме уже не было никого. Тусклый свет каганца едва освещал опустевшую хату с беспорядочно сдвинутыми лавками и столами и загрязненным глиняным полом; жид, очевидно, еще за минуту мирно подсчитывающий за прилавком свою дневную выручку, застигнутый врасплох неожиданными гостями, вскочил с места и застыл в своей позе с выпученными от ужаса глазами, устремленными на ворвавшихся в хату казаков.

Мазепа остановился.

– Где же он?.. Здесь нет никого?.. – произнес он, задыхаясь, и устремил на Остапа взгляд, полный ужаса и ожидания.

На лице Остапа отразилась досада.

– Должно быть, уехал.

– Куда же?! Куда?!

– А кто его знает?

– И ты не спросил?.. Ты не спросил, куда он едет?.. Зачем здесь?..



– Гм!.. – Остап замялся. – Да ведь я только и вспомнил про кольцо, подъезжая к Чигирину.

– Ну, хоть имя его, – продолжал Мазепа с возрастающей тревогой в голосе, – имя, как его зовут?

– Да, имя... опять-таки... – Остап смущенно мял в руках свою шапку. – Ей – богу, не догадался тогда спросить.

– О! Господи! – вскрикнул с отчаяньем Мазепа, опускаясь в изнеможении на лаву. – Ты, Остапе, убил меня!

Остап стоял перед ним растерянный, смущенный: ему самому было невыразимо досадно, что отысканная нить оборвалась теперь так неожиданно. Но что же мог он сделать? И кто мог предположить, что разгулявшийся казак уедет так скоро отсюда.

При первых словах Мазепы у жида отлегло от сердца. Было видно, что примчавшиеся сюда казаки не имели в виду грабежа. Притом же он сразу узнал Остапа и догадался, что в этом неожиданном появлении скрывается что-то достойное внимания, а потому и принялся с интересом следить за происходившей перед его глазами сценой.

После нескольких фраз, брошенных при нем растерянными гостями, чуткое сердце шинкаря наполнилось сладостным предчувствием: этот, знакомый ему уже казак не мог дать ни одного толкового ответа на вопросы своего господина, а так как вельможный пан что-то слишком заинтересован пировавшим здесь, в шинке, незнакомцем, то, очевидно, обратится с допросами и к нему, шинкарю, а тогда уже, наверное, несколько блестящих червончиков перепадет в его карман.

Между тем Мазепа сидел на лаве, опустивши голову, неподвижный, совершенно убитый неудачей. Но вот он снова поднялся с места.

– Постой, скажи, – обратился он к Остапу тем же взволнованным, непослушным голосом, – давно это было?

– Да так, часа три тому назад, покуда я съездил в Чигирин и вернулся сюда назад.

– Когда же тот уехал?

– Да вот шинкарь...

– Гей, жиде, сюда! – крикнул Мазепа, оглянувшись по указанному Остапом направлению.

Жид, только и поджидавший этого возгласа, стремительно бросился из-за прилавка к Мазепе.

– Что прикажет ясновельможный пан? – произнес он подобострастно, перегибаясь вдвое перед Мазепой и целуя полу его жупана.

– Ты знаешь этого казака, который гулял здесь у тебя в шинке?

– Ой, нет, ясновельможный пане, не знаю! Он нездешний, я его видел в первый раз.

– Не слышал ли хоть, как его звали товарищи? Ведь с ним было несколько казаков.

– Ой, вей! Как же они звали его? Один звал паном-братом, другой – паном добродием.

– Ну, а куда они едут, зачем приехали? Они ничего об этом не говорили?

Жид печально закивал головой.

– Нет, ясновельможный пане, они ничего об этом не говорили.

– Стой! Это ты уже знаешь, когда уехали они?

– Да вот сейчас, как пан со своим товарищем, – шинкарь указал глазами на Остапа, – выехали из корчмы, так и они велели седлать своих коней и поехали себе тоже.

– А куда поехали, в какую сторону?

– Вон по тому, по Киевскому шляху.

– Да ведь там дорога делится и на Черкассы, и на Корсунь, и на Жаботин... О, проклятье, сто тысяч проклятий! – проскрежетал Мазепа, впиваясь пальцами в волосы, и зашагал в волнении по хате.

Что было делать? Куда броситься? Где искать их?

Три часа... Каких три? Больше: четыре, пять! За это время можно было далеко ускакать, а если он с Остапом бросится наобум и примет еще ложное направление в своих поисках, то потеряет незнакомца навсегда. Но как же принять правильное направление? Ни имя незнакомца, ни цель его путешествия, ни дорога, по которой он отправился, – ничто, ничто неизвестно ему!

Мазепа чувствовал, что он задыхается от волнения; кровь прилиwała ему к лицу, она стучала словно молотом в висках и жгла его глаза. Известие о кольце в одно мгновение сорвало струп с его раны и наполнило все его существо бушующим огнем. Как безумный, летел он сюда, чтобы увидеть поскорее этого незнакомца – и вот не застал никого! О, проклятье! «Тысяча тысяч проклятий!» – шептал он про себя, сжимая руки: само пекло не могло подшутить над ним хуже, указать на минуту след к розысканию Галины и тут же вырвать ее, вырвать навеки из рук! Мазепа чувствовал, что если он теперь потеряет след этого незнакомца, то способен лишиться от бешенства рассудка.

И жид, и Остап встревоженно следили за ним.

## XIII

Мазепа остановился перед Остапом и жидом; лицо его было страшно, волосы всклокочены, глаза воспалены.

– О чем говорили они? Все, все, каждый пустяк, до последнего слова вспомните! – произнес он сухим, словно осипшим голосом.

– Да что же он говорил? О том, что набег сделали белгородские татары, хвалил гетмана за союз с султаном, пил за его здоровье... – ответил сразу Остап.

– Ой, вей! – жид сморщился, причмокнул и покачал с сомнением головой. – Не хотел бы я, вельможный пане, чтобы меня так хвалил кто-нибудь за мою горилку, как он хвалил ясно-вельможного гетмана нашего за союз с султаном. За каждым его словом поспольство кричало все больше и больше... Ой, вей! Я думал, что они сейчас подымут бунт.

– Это правда, – согласился и Остап, – он-то и хвалил, да как-то оно не дуже добре выходило.

– И когда наши казаки уехали, он тоже поспешил из корчмы? – произнес оживленно Мазепа.

– Так, так, ясно-вельможный пане, немножко обождal и сейчас сам собрался.

На мгновение Мазепа опять задумался, мысли его понеслись с лихорадочной быстротой. «Итак, незнакомец старался, очевидно, возбудить народ против гетмана; он говорил о том, что набег сделали белгородские татары, он говорил о турецком союзе. Ясное дело, он хотел возбудить народ.

Когда Кочубей с Остапом выехали, этот человек, испугавшись того, не проговорился ли о чем-нибудь, также поспешил убраться из шинка.

Нет сомнения, это казак из какого-то враждебного лагеря. Но от кого? Суховеенко теперь совсем ничтожен. Многогрешный?.. Но нет, из слов Марианны видно, что он не стал бы бунтовать здесь народ. Так кто же остается? Ханенко! Да, один Ханенко. Итак, этот казак – его клевет. Но какое же отношение он имеет к Галине? Каким образом очутилось у него ее кольцо? Каким образом? Да ведь Галину украли татары; Ханенко в союзе с татарами, а этот казак – его добродетель, он мог украсть ее, купить, выменять... Мог получить в подарок от какого-нибудь мурзы!.. Отыскать его, отыскать во что бы то ни стало! – Мазепа сжал себе до боли руки. – Зачем же он прибыл сюда? Ведь Ханенко теперь сносится с Москвой, – тогда бы он ехал левым берегом. А может быть, он хочет здесь бунтовать народ? Но к чему? Ведь Ханенково дело на этом берегу совсем пропало; и Умань отложила, и... – Мазепа схватился рукой за лоб и нахмурил брови. – А может, Ханенко затевает что-нибудь новое? – В памяти Мазепы промелькнул рассказ Кули о встрече с каким-то ханенковским добродетельцем... – опять, и здесь тоже. Нет, нет, должно быть, Ханенко затевает что-либо новое. О, если бы знать что, тогда бы можно было узнать и путь этого незнакомца! Поймать бы хоть нить, но как?»

– А больше, вспомните, больше ни о чем не говорил он? – произнес Мазепа, обращаясь разом и к Остапу, и к жида.

Остап угрюмо молчал; Мазепа перевел свой взгляд на жида.

– Вспомни, – продолжал он, – быть может, раньше, до их приезда? – с этими словами Мазепа вытащил из кармана червонец и бросил его в руку еврею. – Вспомнишь, получишь вдвое.

При виде золота глаза шинкаря разгорелись; от волнения, от усилия мысли даже кровь прилила ему к лицу.

Мазепа не отрывал от него взгляда. И вдруг глаза жида расширились, голова поспешно закивала, длинные пейсы усиленно заболтались.

– Вспомнил! Вспомнил! Вспомнил! – закричал он торопливо. – Ой, вей, теперь уже ясно-вельможный пан отыщет его, отыщет непременно!

– Говори же, говори! – крикнул, задыхаясь от нетерпения, Мазепа и бросил снова ему два золотых.

Жид поспешно сунул их в карман и заговорил торопливо гортанным, пришепывающим голосом, усиленно жестикулируя и кивая головой.

– Он говорил о конях. Да, да... он говорил об этом. Когда они только что приехали, он говорил, что надо купить новых лошадей, и поскорее, потому что эти уже не годятся и не выдержат далекого пути.

– Далекого пути? – переспросил Мазепа.

– Да, да, так он и сказал: не выдержат далекого пути... И потом я сам видел их коней: они были такие худые и такие забреханые, один даже хромал. Пхе! Я за таких коней не дал бы и дуката.

– Ну, ну, что ж дальше?

– Дальше? А вот что, – жид приподнял брови, вытянул свое лицо так, что его козлиная бородка загнулась вперед, и медленно заговорил, делая за каждым словом однообразное движение правой рукой с кругло соединенными первым и третьим пальцем. – У казака были гадкие кони, так ему нужно было купить новых. А где же можно покупать лошадей? На ярмарке. А где же теперь ярмарка? В Корсуне.

Как коршун за добычей, так следил Мазепа за каждым его словом; при последней фразе жид все лицо его вспыхнуло.

– Твоя правда, жиде! – вскрикнул он, хватая со стола шапку. – За мною, Остапе, на коней!

Это неожиданное приказание совершенно ошеломило Остапа. Как? Не сказавши никому ни слова, нестись вдвоем в Корсунь, за сотню верст, когда через какой-нибудь час всю землю обляжет глухая ночь! «Уж не потерял ли Мазепа от горя рассудок?» – промелькнула у него в голове мысль, но он не посмел в такую минуту возражать в чем-либо Мазепе и молча последовал за ним.

Не успел изумленный жид прийти в себя, как оба казака уже вынеслись во весь опор со двора корчмы.

Густые сумерки окутывали все окрестности, ветер подымался.

Завернувшись в свои кереи, оба казака неслись во весь опор по пустынной безлюдной дороге.

Надежда отыскать незнакомца в Корсуне снова пробудила всю энергию у Мазепы. Ему казалось, что он пережил целый год в эти три часа. Слова Остапа о кольце, виденном на пальце незнакомца, одним ударом разбили тонкий слой начинавшего уже сковывать его сердце льда. Словно сухие листья, взвешиваемые осенним ветром, закружились в душе его все чувства, мысли, сомнения, надежды. Галина, которую он начинал считать мертвой, в ту минуту, когда он потерял уже последнюю надежду, встала вдруг перед ним. В его руках уже находилась тонкая нить к отысканию ее – и он дрожал, он замирал при мысли, что один его неверный шаг может прервать нить! Снова в сердце его нахлынула теплой животворящей волной любовь и бесконечная нежность к дорогой утерянной Галине. Но жива ли Галина? С живой или с мертвой снял незнакомец это кольцо? Был ли это сам похититель, разбойник, или соучастник преступления, или он купил его у кого-нибудь из татар?

Мазепа сбрасывал несколько раз шапку и подставлял свой пылающий лоб порывам холодного ветра; мысли, одна другой ужаснее и страшнее, как волны прибоя на высокую скалу, набегали на него и разливались холодной струей по всему его телу. «Он сказал Остапу, что едет на сватанье и что перстень у него дивочий, – повторял себе Мазепа слова Остапа. – Чтoб Галина сама отдала ему этот перстень? О, нет! Никогда! Разве силой вырвали его у нее, но сама бы она не отдала его ни за что! Что же связывает его дорогую Галину с этим странным казаком? На

сватанье... – повторил он снова. – Быть может, он украл, откупил у татар Галину, спрятал ее здесь где-нибудь и теперь спешит к венцу? Но нет, нет! Вздор! Здесь что-то не то... Кто спешит к венцу, тот не станет бунтовать в шинках народ! Но что же, что связывает его дорогую Галину с этим казаком?» – возвращался Мазепа снова к тому же вопросу и в бессилии останавливался перед ним, как перед глухой непроходимой стеной.

Надежда, отчаянье, радость, любовь, жгучие воспоминания и болезненные предчувствия кружились в голове Мазепы беспорядочным, опустошительным ураганом. Он изнемогал от этого душевного терзания; казалось, если бы не мысль о том, что через день, может быть, через несколько часов тайна, терзавшая его целый год, будет раскрыта, он упал бы тут же от изнеможения. Она, эта мысль, неслась перед ним, как блуждающий огонек перед заблудившимся путником, и заставляла его все подгонять и подгонять своего усталого коня.

Остап не отставал от Мазепы. Так проскакали они часа полтора, останавливая всего раза два на несколько минут своих коней, чтобы дать передохнуть усталым животным. Наконец темная осенняя ночь покрыла все непроницаемой пеленой. Как ни рвался вперед Мазепа, но продолжать дальше путь в такой тьме не было никакой возможности; надо было остановиться. Путники заехали в большое село, расположенное на Корсунской дороге. Мазепа расспросил всюду, не видал ли кто из поселян смуглого казака, богато одетого, проезжавшего в сопровождении пяти товарищей, часа четыре тому назад? Но всюду он получал один и тот же отрицательный ответ: никто не видал подобных казаков.

Это обстоятельство уже зародило в душе Мазепы беспокойство и сомнение, но он постарался овладеть собой.

Утром рано, едва только тусклый свет пробился сквозь серое небо, Мазепа и Остап уже были на конях и скакали по направлению к Корсуню. В продолжение дня они останавливались всего только два раза, и то больше для того, чтобы дать отдохнуть лошадям. Еще до вечера оставалось часа два – три, когда они достигли наконец Корсуни.

Оставив своих лошадей на постоялом дворе, Мазепа и Остап отправились в ту сторону ярмарки, где торговали лошадьми. Еще не доходя до этого места, они уже были оглушены смесью каких-то невозможных диких звуков, как бы повисших в воздухе над этой частью ярмарки; здесь слышались и гиканья, и крики на татарском и на цыганском языках, и хлопанье бичей, и ржанье лошадей.

Вся площадь кипела народом; казаки, мещане и крестьяне шныряли между рядами, выбирая себе лошадей. То там, то сям черномазый цыган, выхваливая своего коня, вскакивал на него и с диким гиком проносился среди испуганной толпы.

Осторожно пробираясь среди этих волнующихся рядов, Мазепа и Остап обошли всю конную ярмарку, но как ни всматривался Остап в лицо каждого прохожего, а нигде не мог увидеть смуглого незнакомца. Проходив напрасно около часа, Мазепа и Остап принялись расспрашивать каждого из продавцов, не торговал ли у них коней высокий, смуглый казак с пятью спутниками? Остап подробно описывал всю его наружность, весь костюм, но всюду они получали один и тот же ответ, что такого казака не было. Тогда они отправились в другую сторону, обошли все ряды, но нигде не было и следа незнакомца. Чем дальше продолжались бесплодные поиски, тем больше бешенство и отчаяние овладевали Мазепой. Он решился еще на одно последнее средство – разузнать во всех шинках и постоялых дворах, не останавливался ли здесь этот незнакомец.

Усталые, измученные, они обошли с Остапом все корчмы, все шинки, но никто не видал нигде разыскиваемого ими казака.

Выйдя из последней корчмы, стоявшей уже около самых городских ворот, Мазепа в изнеможении опустился на лавку. Вслед за ним, увидав такого важного пана, выскочил и юркий шинкарь, окруженный целой плеядой меньших и больших жиденят. Низко изгибаясь перед Мазепой, он начал предлагать ему свои услуги; он просил его зайти хоть на минутку в корчму,

отдохнуть с дороги, выпить стакан меда, сделать честь его убогой корчме. Все эти приглашения пересыпались самыми лестными эпитетами. Но Мазепа не слышал ничего: он сидел неподвижно, как каменное изваяние.

Было ясно, как Божий день, что казак на Корсунь не поехал. Побоялся ли он явиться на многолюдном ярмарочном собрании и изменил из-за этого свой маршрут, или нарочно говорил при жиде о покупке лошадей, чтобы запутать свои следы, но было очевидно, что до сих пор его не было в Корсуне. Мазепа чувствовал, что он теряет рассудок: итак, то, чего он страшился, – свершилось. Нить была утеряна, и утеряна безвозвратно. Теперь он стоял, как странник, заблудившийся в пустыне, не зная, куда броситься, что предпринять. Подавленный ужасом своего положения, он сидел неподвижно, не видя и не слыша ничего.

Вдруг радостный крик Остапа заставил его вздрогнуть и вскочить с места. По дороге к городским воротам медленно тянулся высоко нагруженный воз, сзади его было привязано два дорогих коня, очевидно, купленных здесь же на ярмарке. На передке сидел коренастый поселянин и равнодушно помахивал над лошадаками батошкой, сзади же на возу сидел смуглый человек в одежде зажиточного горожанина, сверху которой был еще наброшен широкий кобеляк. По всей вероятности, почтенный горожанин, сделавший на ярмарке свои хозяйственные закупки, возвращался уже домой.

– Он, он! Ей – богу, он! – прошептал Остап, дергая Мазепу за рукав и впиваясь глазами в горожанина.

Мазепа взглянул по указанному направлению и вдруг замер на месте: на мизинце мещанина блеснуло бриллиантовое кольцо...

Между тем воз медленно подвигался к выезду из города; через несколько секунд он должен был поравняться с корчмой.

«Остановится или нет? – промелькнуло в голове Мазепы, и он почувствовал, как холодом облило его с ног до головы при одной мысли о том, что воз может проехать мимо. – Нет! Надо остановить его во что бы то ни стало. Но как? Подойти прямо, схватить, арестовать?.. А что могут они сделать вдвоем с Остапом, да еще пешие? Но если бы им удалось даже созвать народ, окружить воз, арестовать казака, казак может тогда не дать никаких объяснений, может нарочито сбить с толку, обмануть! Нет, нет! Все это не повело бы ни к чему. Надо сойтись с ним, выпытать, разузнать, а для этого надо время. Один только час беседы, один только час, и он все узнает. Но как добиться ее, как остановить казака, как заманить его в шинок?»

Все эти мысли промелькнули в одно мгновение в голове Мазепы. Между тем воз, по – видимому, и не думал заворачивать к корчме.

Мазепа понял, что теперь успех дела будет зависеть исключительно от его сообразительности и быстроты действия.

Он быстро оглянулся кругом, сделал Остапу знак следовать за собою, схватил за руку стоявшего подле него жиды и увлек его под темный широкий проезд корчмы.

– Слушай, жиде, есть у тебя отдельная хата? – заговорил он торопливым, прерывающимся шепотом, не выпуская его руки.

– Есть, есть, вельможный пане! – жид усиленно закивал головой.

– Десять дукатов, слышишь, двадцать дукатов, тридцать дукатов... Ничего не пожалею... если... вон того горожанина, что едет на том возу, заманишь сюда в корчму и сведешь его в одной комнате со мной.

– Понимаю, понимаю!

– А если же нет...

– Пс! Шкуры своей для вельможного пана не пожалею! – шепнул жид и выскочил из проезда.

Перекинувшись несколькими словами со своими двумя помощниками, стоявшими у ворот и сторожившими проезжих, он бросился наперерез к поравнявшемуся в это время с

корчмой возу, его ловкие союзники последовали за ним, за последними бросились и жиденята, игравшие подле корчмы, и через секунду воз был окружен со всех сторон кричащей толпой.

Не выходя из своей засады, Мазепа зорким взглядом следил за всей этой сценой и в то же время глухим, отрывистым голосом отдавал приказания Остапу:

– Дай мне сюда твою керею, и шапку, и саблю, а ты надень скорее все мое, на! И спрячься сейчас же, чтоб они тебя не увидели, не узнали... А когда мы усядемся с казаком в одной хате, то постарайся, чтобы жид тебя поместил где-нибудь вблизи; крикну – спеши сейчас же на помощь.

– Все сделаю, не бойся, – ответил тихо Остап, запахивая на себе дорогой плащ Мазепы, и выскользнул из-под ворот во внутренний двор корчмы.

## XIV

Жида окружили воз горожанина, и лошади невольно остановились.

– Ясновельможный пане, ясноосвецонный пане! К нам, к нам в корчму поворачивайте. Есть мед литовский, венгржина, мальвазия! Ой, вей, какая мальвазия! И сам гетман такой не пил! – кричал, изгибаясь и беспрерывно кланяясь важному горожанину, сам шинкарь.

– Ну, ну, герс ду, Иване, чего ж не заворачиваешь? Видишь, вельможный пан хочет выпить здесь келех меду! – стрекотал в то же время долговязый рыжий помощник шинкаря, дергая дышло и стараясь заставить лошадей подвернуть к корчме.

Все решительно, не исключая и маленьких жиденят, кричали, дергали проезжих, выкрикивали названия разных имеющихся в корчме товаров, стараясь ошеломить подорожного и заставить его подъехать к корчме. Этот крик, эти дерганья, эти назойливые приглашения могли бы, кажется, довести всякого человека до исступления, но горожанин был, по – видимому, уже приучен к подобным сценам.

– Да ну тебя с твоими трунками, отступись со своим кодлом, – произнес он невозмутимо. – Да, гей! Отступись же, не мешай коням идти!

Но на шинкаря этот возглас не произвел никакого впечатления.

– Ой, вей! Ясновельможный пан купил кони, – продолжал он. – Пс... Пс... – жид усиленно зачмокал губами. – Пс! Что это за кони? Какие это кони? Вот у меня есть кони! Змии, а не кони! И пан их может взять совсем даром... Пусть пан только посмотрит.

– Так, так, пусть пан только зайдет и посмотрит! – кричал и помощник, дергая лошадь за узду.

– Гей, отойди, жиде, чего дергаешь коня: слышишь, отойди! А не то, так батогом и огрею! – крикнул флегматичный возница, но жид не унимался.

С напряженным вниманием следил Мазепа за всей этой сценой, однако же, несмотря на все старания жидов, горожанин не имел, по – видимому, никакого намерения заезжать в корчму.

– Да отчепысь ты со своими конями, не нужно мне ничего! Слышишь! Гей, Иване, гайда! – крикнул он сердито.

Возница дернул поводьями, несколько душ отскочило от воза, но большинство еще держалось за него.

– Да ну же, к бису! А не то, так батогом и шелесну! – гаркнул возница и щелкнул длинным бичом.

В одну минуту все жиденята рассыпались в разные стороны, словно брошенная на стол горсть гороху. Длинный бич кучера развернулся, щелкнул в воздухе, и кони рванулись.

При виде этого Мазепа совсем потерял рассудок, – не помня себя от бешенства, он рванулся уже было из-под ворот, чтобы броситься наперерез возу и силою удержать лошадей, как вдруг перед глазами его произошло что-то столь неожиданное, что заставило его невольно остановиться.

Не успели лошади сделать и трех шагов, как раздался какой-то странный треск, левое заднее колесо воза отскочило, и воз со всей силой грохнулся набок. При этом неожиданном падении почтенный горожанин не удержал своего равновесия и, вылетев из воза, растянулся неподалеку, за ним вывернулись набок мешки и поклажа, наполнявшие воз, а за ними уже грохнулся и возница.

Увидевши все это, жид бросился подобострастно помогать лежавшему горожанину, но тот уже подымался и сам.

– А, сто коп чертей! – произнес он сердито, отряхиваясь от грязи и подходя к возу, – залил ты, что ли, глаза свои, что на гладкой дороге выворачиваешь?



Возница стоял подле воза и флегматично посматривал на обвалившуюся сторону. Услышав слова хозяина, обращенные к нему, он сдвинул на затылок шапку, почесал досадливо в голове и отвечал не спеша:

- Да кой черт переворачивать его стал бы? Колесо соскочило.
- Так чего ж ты смотришь? Надевай скорее!
- Эх, надевай! Тут его теперь и кривой дидько не наденет: ось сломалась.
- Что? – крикнул незнакомец, словно не доверяя своим ушам.
- Ось сломалась, – повторил невозмутимо возница.

Не доверяя ему, незнакомец бросился сам осмотреть ось, но ему пришлось только еще раз убедиться в том, что продолжать далее путешествие было решительно невозможно.

Окружившие воз жида тоже изображали на своих лицах выражение безмолвного недоумения и сожаления.

Несколько секунд все молчали.

– Да еще и загвоздки нет, верно, выскочила, а мы и не заметили, – прибавил самым равнодушным тоном возница.

– Будь ты проклят! – выругался с досадой незнакомец. – Ну, что мне теперь делать?!

Возница молчал.

– Что делать? Вельможный пан жидочка ругал, а жидочек всегда даст помощь, – подхватил услужливый шинкарь, снова кланяясь и изгибаясь перед незнакомцем, – у меня есть ось... далейбиг, славная ось! На мою ось пусть хоть пять раз переворачивается воз – выдержит! Сейчас и подделать можно.

– Отчего не подделать, – вмешался возничий, – была бы только ось, а если найдется товар, так я и загвоздку в минуту смастерю.

– Ну вот, ну вот! – продолжал шинкарь, – пусть ясновельможный пан зайдет в шинок, а мы завезем в заезд воз, приправим к нему новую ось, а тем часом вельможный пан выпьет келех меду и все будет готово.

– Д-да, делать нечего! Этакая чертова халепа! – незнакомец досадливо нахлобучил на лоб шапку, подвинул плечом осунувшуюся было на спину керею и произнес, обращаясь к жиду: – Ну, идем! Да только смотри, чтобы мне за час вся справа была окончена!

– Зачем за час? В хвылыночку все будет кончено! – взвизгнул жид и бросился вперед незнакомца. – Вот сюда, сюда пожалуйста, в отдельный покой! – заговорил он, когда незнакомец вошел под своды проезда. – А то там, в корчме, набилось много... пфе! разной черни.

– Ну, а меня куда же сунешь, жиде? – произнес в это время Мазепа, отделяясь от стены и подходя к нему. – Мне бы тоже не хотелось с чернью. Так нельзя ли и меня туда?

– Может, ясновельможный пан позволит и пану казаку передохнуть с ним в одном покое? – обратился жид подобострастно к незнакомцу.

Незнакомец оглянул Мазепу и, очевидно, не заметил в его наружности ничего подозрительного.

– Что ж, – произнес он, – я честной компании не цураюсь. Рад разделить с подорожным товарищем келех меду.

– Спасибо, пане – брате, – ответил Мазепа, – а я тебе и мешать долго не буду, отдохну, да и дальше.

– Вот и гит, гит! – заговорил радостно жид, распахивая перед ними низенькие двери. – И панство будет довольно, и воз будет поправлен, и кони отдохнут, и бедный жидок заработает копейку!

– Маешь тридцать дукатов! – шепнул ему на ухо Мазепа, проходя за незнакомцем в указанный покой.

Жид только захлебнулся от восторга и бросился в корчму тащить знатым гостям пиво, мед, вино и всякую снедь.

Через несколько минут на столе появились принесенные шинкарем фляжки, кубки и всевозможные закуски, а также и зажженные в медных шандалах сальные свечи, так как в комнате становилось уже темно.

Незнакомец сбросил с себя кобеняк и остался в длинном синем жупане, какие носили почетные горожане и купцы.

– Ну – с, пане – брате, – произнес он, подсовывая свои рукава, – давай хоть выпьем, да запалим люльки, чтоб дома не журились.

– Гаразд! – согласился весело Мазепа и, сбросивши свою керею, присел также к столу.

Незнакомец поднял тяжелую фляжку и перегнул ее над кубком. Теперь Мазепа увидел уже совершенно вблизи его руку, тусклый свет свечи упал на нее – и бриллиант на мизинце загорелся всеми огнями.

Мазепа почувствовал, как кровь залила ему весь мозг шумящей волной: бесспорно, это был его перстень, тот самый перстень, который он посылал к Галине в залог столь близкого счастья. На мгновенье он забыл все на свете, кроме этого кольца. Ему неудержимо захотелось тут же, сейчас схватить за руку этого незнакомца и вымолить, выспросить у него, откуда он достал это кольцо? Но это было только мгновенье, через минуту обычная рассудительность вернулась к Мазепе. Надо было действовать ловко, хитро и осторожно, а главное, не пробудить какого-нибудь подозрения в незнакомце.

– Ну, будем же здоровы! – отвечал он весело, принимая из рук незнакомца кубок и чокаясь с ним.

Оба выпили.

– Кислый мед! – произнес с легкой гримасой незнакомец, опуская кубок на стол.

– Попробуем другого питья, – предложил Мазепа. – Гей, жиде!

На пороге появилась фигура сияющего от удовольствия шинкаря.

– Мальвазии тащи сюда!

Через минуту на столе появилась новая бутылка.

– Теперь уж ты откушай, пане – брате! – произнес с любезной улыбкой Мазепа, подавая незнакомцу наполненный кубок.

Незнакомец отпил, поставил кубок на стол и расправил ладонью усы.

– Ну, это дело, – ответил он, – это еще пить можно.

– Ге, да ты, я вижу, не только на конях, а и на вине добре знаешься, – улыбнулся Мазепа. – Видел твоих коней, добрые кони, отличные... А сколько дал?

– Пятьдесят дукатов.

– Пустяковина! За таких коней и шестьдесят дать не грех!.. Ну, выпьем же еще по чарке! – и Мазепа снова налил кубок и подал его незнакомцу.

– Го-го! – ответил тот с улыбкой. – Да ты, я вижу, пить не промах!

– «Хто чарки личить, той добра не зычить», – усмехнулся Мазепа и осушил одним духом свой кубок.

Мало – помалу между ним и незнакомцем завязалась самая оживленная беседа. Несмотря на все свое душевное волнение, Мазепа так и сыпал шутками, остротами, прибаутками и тем временем подливал мальвазии незнакомцу.

И мальвазия, и оживленная беседа делали свое дело. Незнакомец мало – помалу терял свою сдержанность. Мазепа чувствовал, что очаровывает его.

– Ну, да и славный же товарищ из тебя, пане – брате! – вскрикнул наконец незнакомец, весело ударяя Мазепу по плечу. – Ей – богу, если бы не то, что поспешать надо, до света бы с тобой прогулял!

– А ты разве торопишься куда? – произнес поспешно Мазепа и тут же испугался, что его тон мог показаться подозрительным, но незнакомец не заметил ничего.

– Торопиться-то особенно нечего, – отвечал он с расстановкой, – а вот только что против ночи... по нашим временам и днем опасно ехать, а уж ночью...

– Так, так, твоя правда. Говорят, татаре показались. Вот и я боюсь ехать. Хоть бы знать, откуда они?

– Я слышал, люди тут на ярмарке рассказывали, что это Белгородская орда жартует, вот та, которую гетман пригласил.

При этих словах Мазепа насторожился. Несмотря на свое страстное желание узнать истину о кольце, он не забывал и того, что перед ним сидит какой-то тайный и, по – видимому, немаловажный клевет Ханенко.

Узнать подлинные намеренья Ханенко было чрезвычайно важно для дальнейшего ведения дел. В сердце Мазепы дрогнула жилка охотника, выслеживающего дичь.

– Может, и она... Ох Господи! – вздохнул он тяжело и печально покачал головой. – Вот времена настали! Шарпают, шарпают нашу бедную отчизну. Гетман должен был даже для обороны от этих врагов татар пригласить, а с татар известно какая оборона: тут оборонят, а там разорят.

– Так, так, так, – произнес в раздумье незнакомец таким тоном, как будто бы не слышал слов Мазепы и, поднявши на него глаза, спросил быстро: – А ты, добродию, откуда сам будешь?

«Гм, да я вижу, ты хитрая штука!.. – подумал про себя Мазепа. – Ну, так надо тебе приманочку на крючок посадить».

– Из-под Умани, – произнес он громко и назвал одно из незначительных местечек.

– Какого полка? – переспросил живо незнакомец.

– Теперь-то еще никакого. Видишь ли, вышло так, что должен был я целый год по свету путешествовать, ну, а вот теперь, как вернулся назад, такое застал, что и сам не знаю, что делать и куда приткнуться. Покинул я гетманом одного Дорошенко, а застал двух. Одни говорят, что Дорошенко останется гетманом, другие толкуют, что Ханенко гору возьмет. Так что вот, как видишь, – Мазепа широко развел руками, – не знаю сам, к кому и пристать.

– Что ж, – незнакомец закрутил на палец длинный черный ус и приподнял брови, – рыба ищет, брате, где глубже, а человек – где лучше.

– Это верно, – Мазепа тряхнул с улыбкой головою и, положивши на стол руку, произнес, перегибаясь над столом: – Да вот ты скажи мне на милость, где теперь лучше?

При этом вопросе незнакомец усмехнулся, и правая бровь его чуть – чуть поднялась над глазом. Казалось, все выражение его лица говорило: «Нет, брат, я ведь тоже тертый калач: не захочу, так, даром, что у меня шумит в голове, а и слова лишнего не вырвешь».

– Хе – хе – хе! – произнес он вслух. – С таким вопросом лучше всего к Богу обращаться, – потому что, раз – умные люди говорят, что на вкус, на цвет и товарища нет, а два – то, что фортуна – жинка, да еще и слепая, так разве можно на нее положиться? Сегодня она Дорошенко служит, а завтра к Ханенко перескочит, а позавтрему, может, с Суховием сядет.

Теперь уже Мазепа в свою очередь чуть – чуть заметно улыбнулся.

«Боишься, – подумал он про себя, – ну, постой же, не удастся тебе от меня вывернуться, мы с другого боку мову заведем».

– Нет, не то, друже, – заговорил он вдумчивым, задушевым голосом, – не о том я забочусь, кому счастье больше служит. Известное дело, счастье, как лихорадка: к кому привяжется – нескоро отстанет. О другом меня думка тревожит. Вот ты объясни мне: ты здешний, оседлый человек, так, верно, лучше меня все знаешь, скажи на милость, для чего, собственно, Ханенко на Украину идет?

Последнее слово Мазепа произнес как-то особенно отчетливо и устремил на незнакомца из-под опущенных ресниц пристальный, пытливый взгляд.

– А для того, чтобы сбросить Дорошенко с гетманства, – ответил без запинки незнакомец.

## XV

В прикрытых ресницами глазах Мазепы вспыхнул затаенный огонек. «А! Так значит, Ханенко таки идет, идет! – подумал Мазепа. – Если бы это было не так, незнакомец опровергнул бы это известие; если бы он услышал его в первый раз, поторопился бы узнать у него, у Мазепы, об источнике этих сведений, но он не возразил ничего, он не обратил на это слово даже внимания, как не обращают внимания на что-нибудь всем известное. Отлично, – подумал про себя Мазепа, – значит, Ханенко идет на Украину; мы это и запомним, и гетману доложим, но зачем пожаловал ты сюда, пане – брате? Уготовать Ханенку путь или имеешь в думке еще что-нибудь? Хорошо было бы перетянуть тебя на свою сторону: у тебя, вижу, голова не порожняя».

В это время незнакомец повернул так руку, что кольцо на его пальце снова блеснуло всеми огнями радуги. При виде этого кольца Мазепа почувствовал опять, что теряет над собою всякую власть... «Но нет, нет, нет! – прошептал он про себя. – Не сразу, не сразу... дойдет очередь и до кольца». И, тряхнув головою таким жестом, словно он хотел им стряхнуть с себя снова охватившее его волнение, Мазепа продолжал вслух:

– Скинуть с гетманства... Гм... вот тут-то и поразмыслить надо. Скажи мне на милость, какое право имел Ханенко с татарами на Дорошенко наступать? Я-то сам теперь и не разберусь в этих делах.

– Как какое? – даже изумился незнакомец. – А то, что рада гетманом поставила.

– Его? Да ведь когда я уезжал, так гетманом Дорошенко был.

– Ну да, был он, а потом рада его не захотела и выбрала Ханенко.

– Какая ж рада?

– Какая? Известное дело, казацкая.

– Ага! Так значит, оно так выходит, что если бы здесь вот собралась нас изрядная купа, сложили бы мы свою собственную раду и выбрали бы нового гетмана, так тоже имели бы право призывать татар, выступать на Дорошенко и на Ханенко, разорять край?..

– Гм! Это ты хитро загнул, – усмехнулся незнакомец и повел бровью. – Только, видишь ли, нас здесь мало, так какая же это рада, а вот если бы вся Украина собралась, тогда конечно...

– Гай, гай, да еще и зелененький, – перебил его Мазепа, – да разве Ханенко вся Украина обирала? Да разве может хоть одного нашего гетмана вся Украина обрать?

– А почему нет? Ведь обирает же кошевого на раде все Запорожье?

– Украина – не Запорожье! Запорожье можешь все созвать, а Украину не соберешь. Оттого-то и выходит, что каждая купа выбирает себе своего гетмана и считает его законным. Да и каждая так рада у запорожцев. Кто кого перекричит или кулаками перебьет. Этак всегда горлатые дурни гору возьмут, а разумного человека, который бы тихое и справедливое слово сказал, и не услышишь. Нет, нет, запорожский закон к нам не подходит, от этого-то самого порядка и смуты идут по всей земле.

– Ге – ге! Жили и деды, и батьки наши при таком порядке и врагов так били, как нам и не снилось, – ответил с презрительной усмешкой незнакомец. – Хоть и горлатые дурни на запорожской раде гору берут, а дай Бог, чтоб Украина нажила хоть половину той силы и славы, какой наше славное Запорожье достигло!

– И не наживет, не наживет никогда, если будет только запорожским законом жить!

Незнакомец хотел было что-то возразить, но Мазепа продолжал с воодушевлением:

– Нет, постой, дай договорить дальше. Что требуется от запорожского кошевого? Чтобы он был храбрым, отважным и знающим казаком, чтобы знал поля, шляхи, обычаи врагов. Да. А кто собирается на раду? Запорожцы. Каждый из них в любую минуту мог бы сам стать кошевым, потому что все они отборные орлы и храбрецы. Могут ли они выбрать кошевого? Могут, потому что они и друг друга знают и понимают, чего от кошевого требовать надо. А теперь

посмотри на Украину. Что требуется от гетмана? Мало того, чтобы он был храбрым и отважным казаком, если бы он им не был, то мог бы своих полковников на войну посылать, а надо, чтобы он разумом был первый во всей Украине, надо, чтобы он был человеком, привыкшим ко всяким государственным делам, надо, чтобы он, как опытный лопман, умел свою чайку через самые страшные пороги провести. А теперь подумай только, кто собирается на раду? Если бы собиралось еще само казачество, оно могло бы толково дело повести. А то ведь всякий на раду вдет: ратай бросает свой плуг, рыболов – сети, купец – весы, и все спешат на раду. Ну, могут ли они достойного гетмана обречь? Могут ли слепые кроты месяц среди звезд различить? Вот от этого и выходит, что, кто подпоил толпу, тот и гетман. И это, заметь себе, раз, а другое, и то никому не известно, на какой срок гетман обирается. Вот на Запорожье есть строгий закон: обрали кошевого, хотя он тебе и не по душе, молчи и корись, жди новых выборов, тогда и выбирай, кого хочешь, а вздумаешь бунтовать – секим башка!

– Так ведь это только на походе.

– *Civitas in militari statu semper est*<sup>3</sup>, так сказать, всегда на походе, так как со всех сторон следят за ним враги и только ждут минуты, чтобы запустить в него свои когти. А у нас разве кто кого слушает? Хоть через неделю готовы устраивать бунт! Вот в том-то, друже мой, и несчастье, и недоля наша, что нет у нас твердого ладу, а оттого и выходит, что, кого какая рада обрала, тот и гетман. Такого беззаконного государства на всем свете нет. А все оттого, что хочется вам всюду запорожские порядки завести... Нет, нет! От этих порядков только гибель всего края настанет. Да оглянитесь кругом, посмотрите, как люди живут. Вот хоть бы у ляхов, недалеко ходить, – продолжал он с воодушевлением, наполнив снова кубки. – Чего уже большего безладья, а и то всем известно, что короля выбирает сейм, и если кто другой назовется королем и пойдет на выбранного народом владыку, того считают бунтовщиком, и ловят и карают, чтобы смут в отчизне не подымал.

– А если король твой или гетман окажется изменником, так что же, по – твоему, все равно должны мы его ярмо, как вола, на своей шее терпеть?

– Терпи того, кого бильшина хочет!

– Го-го! Хорош же и твой подъяремный закон! – Глаза незнакомца гордо сверкнули. – Может, и теплый кожух, да только не на нас сшитый. Мы – люди вольные, и если бы даже и большинство вслед за гетманом захотело бы отчизну в неволю отдать, изменить ей, так мы этого не попустим!

– И учините бунт?

– Не бунт учиним, а измену раздавим.

Мазепа вспыхнул.

– Так доказуйте ж прежде всего, что есть измена! Кажется вам, что гетман – изменник – собирайте раду, судите его, слушайте и его оправдания, а не затевайте бунтов для полной гибели отчизны! – заговорил он запальчиво. – Измена! Ха – ха! Знаем мы это! Если кто хочет на гетманское место сесть, так сейчас и обвиняет гетмана в измене. Старая песня, брате, старая! Не этой ли самой изменой все темные дела на левом берегу творятся и расшатывают вконец отчизну. Не в измене ли обвинил славного гетмана Выговского Тетеря и сам занял его место? А, да что там! Вспомним даже покойного нашего гетмана Богдана. Не он ли вывел весь наш люд из неволи, не за ним ли встала вся Украина? А ведь нашелся и тогда Иуда Сулима, а за ним и тысяча – другая горячих голов, которые обвинили Богдана в измене и требовали, чтобы он Сулиме гетманство отдал. Ну что ж, если бы все по – твоему судили? Сулима взял бы тогда гору, как ты думаешь, далеко бы пошла наша земля? Ха – ха! Так бы и опять к ляхам в пазури попала! Но, на счастье, тогда еще старшина держалась одного гетмана и не слушалась всяких закутных гетманишек, да и Богдан не упал духом. – Мазепа перегнулся над столом и произнес

---

<sup>3</sup> Государство всегда на военном положении.

каким-то особенным настойчивым и властным голосом: – Он не отдал своей булавы в руки безумной толпе и покарал бунтовщиков.

Незнакомец молча слушал Мазепу, видно было, что и слова Мазепы, и пламенное воодушевление производят на него довольно сильное впечатление.

Мазепа провел рукою по лбу, вздохнул глубоко, словно этим вздохом он хотел облегчить свою грудь от стеснившего ее волнения, и продолжал уже более спокойным тоном:

– Так-то, друже мой... Если оно и дальше так пребудет, руина, говорю вам, настанет, руина, и больше ничего. Все это надо переменить, все надо исправить... нельзя давать вожжи в руки малым неразумным детям, – произнес он тихо и задумчиво и, поднявши голову, прибавил громко: – А пока все это станется, то не за того гетмана надо стоять, кого последняя рада избрала, а за того, кто к покою и благу отчизну ведет.

– К покою и благу! Ге – ге, пане – брате, – усмехнулся незнакомец, – да и у этой твоей правды тоже будет два конца: всякий ведь и покой и благо на свой аршин мерять станет. Вот и за Ханенком не потому только народ идет, что его рада обрала, а потому, что он обещает всем вывести Украину из турецкой неволи, в какую задал ее гетман Дорошенко.

– Дорошенко Украину в турецкую неволю задал?! – вскрикнул с изумлением Мазепа. – Да не может того быть. Да я вот хоть сейчас готов головой положить за то, что это ложь и клевета! Это, друже мой, наверное, его враги выдумали, да и рассказывают всюду, чтобы баламутить против него народ.

– Нет, что правда, то правда, я бы ведь так тоже кому-нибудь с ветра не поверил!

И незнакомец принялся передавать Мазепе все сведения о раде на Расове, о привозе даров султаном и о постановленном якобы на подданство договоре.

Мазепа задумался. Еще раз и еще раз приходилось ему убеждаться в том, что союз с турками подрывает в народе авторитет Дорошенко и порождает слухи о подданстве, рабстве и даже принятии ислама... Но что делать? Куда пойти? Где искать опоры?..

– Видишь ли, друже мой, – заговорил он, когда незнакомец умолкнул. – Слышал и я об этом деле, могу тебе самую верную правду рассказать.

– А откуда же ты знаешь? – спросил живо незнакомец и бросил пыливый взгляд на Мазепу.

– Есть у меня один приятель из гетманской канцелярии, он мне обо всем рассказал, – ответил спокойно Мазепа и принялся излагать перед незнакомцем все пункты договора с султаном и ожидающуюся от них пользу.

Незнакомец слушал его внимательно, иногда перебивал вопросами, обнаруживавшими большое знание в делах политики, но все-таки видно было, что, несмотря на все красноречие Мазепы, договор с султаном не пробуждал в нем никаких радостных надежд.

– Нет, – произнес он наконец, – ты хоть позолоти кайданы (кандалы), а кайданы кайданами и останутся.

– Да кто же тебе говорит о неволе? – изумился Мазепа. – Сам видишь.

– Видеть-то я вижу, – перебил его незнакомец, – да и тот мужик в сказке тоже видел, что ему лисичка в сани сперва одну лапку положила, а потом увидел, что и вся с хвостом влезла. Уж басурмане, поверь мне, даром христианину помощи оказывать не станут, а если они теперь и оказывают Дорошенко помощь, так такую, какую разумная хозяйка кабану оказывает, готовясь его заколоть к празднику.

– Гм, а как же ты, брате, в таком случае за Ханенко заступаешься? – произнес с едкой усмешкой Мазепа. – Ведь и Ханенко с татарами идет?

– Что Ханенковы татары? Ханенко татар только на время для помощи призывает, а потом так отжашает, что и детям их солоно станет.

– Так ведь и Дорошенко не навеки соединяется с султаном, а только для того, чтобы от этих самых Ханенковых татар обороняться. Когда бы не Ханенко...

– Теперь Ханенко, так, а ведь прежде Ханенко не было, а Дорошенко все к басурманам тянул.

– А для чего тянул? – Мазепа сложил руки на столе и продолжал самым равнодушным голосом: – Мне-то что, мое дело – сторона, а только всегда хорошо до самой правды дойти. Вот скажи мне, например, для чего Ханенко татар наводит?

– Для чего? Гм... ну, для того, конечно, чтобы Дорошенко с гетманства сбросить.

– Отлично. Ну, а Дорошенко для чего, по – твоему, с турками згоды ищет?

– А для того, конечно, чтобы удержать свою булаву.

– Нет, друже, не то. – Мазепа покачал головой и продолжал горячо и убежденно: – Ханенко призывает татар для того, чтобы захватить в свои руки гетманскую булаву, а Дорошенко ищет згоды с басурманом, чтобы оборонить Украину. Да, да... Нет, постой, не перебивай меня, – удержал он незнакомца за руку. – Разберем все по правде. Если бы Дорошенко хотел только удержать в своих руках булаву, разве не проще было ему обратиться за помощью к Польше? Ведь Польше все равно, какой бы гетман на Украине ни сидел – Ханенко ли, Дорошенко, или Суховеенко – лишь бы только такой Иуду, чтобы отчизну им продал.

При этих словах по лицу незнакомца пробежала какая-то тень.

– Почему же ты думаешь, что они только Иуду бы и приняли? – произнес он живо, с деланой улыбкой.

– Почему? Потому, что если басурмане, говоришь ты, будут нас только для того годувать, чтобы заколоть потом, так ляхи и годувать нас даже на время не станут, а так со шкурой и проглотят! Разве они забывают и теперь хоть на одну минуту, что мы их рабами и подданными были? Они и во сне видят, как бы им поскорее млеком и медом текущую Украину назад вернуть да снова наложить ярмо на наш бедный народ. Вот почему они и станут изо всех сил поддерживать всякого Иуду, такого, как Тетеря или как Ивашко Бруховецкий, которые продадут за булаву и свою совесть, и свой народ. А честного казака, который стоит за правду и волю, они сейчас бы сожгли в медном быке. Теперь, когда они узнали Дорошенко, то не бойся, булавы уже ему не предложат! Да если бы он им на Евангелии клялся, что только о булаве своей печется, они бы не поверили ему, как не поверил бы тому и самый злейший враг его. А ты еще говорил, что Дорошенко думает туркам Украину отдать!

И Мазепа заговорил с увлечением о замыслах гетмана. Пламенное красноречие Мазепы производило, по – видимому, какое-то волшебное, обаятельное впечатление на незнакомца.

На дворе уже совершенно стемнело, пьяные возгласы в шинке раздавались все реже и реже; свечи нагорели, длинные сосульки застывшего сала сбежали на почерневший медный подсвечник, но увлеченные разговором собеседники не замечали ничего.

## XVI

– Вот потому-то никто и не принимает под свой протекторат Дорошенко: ни Польша, ни Москва, – заключил Мазепа.

– Так что же, – возразил каким-то смущенным тоном незнакомец, – ведь и Ханенко за вольности наши идет.

– За вольности! – по лицу Мазепы пробежала саркастическая улыбка. – Так зачем же ему против Дорошенко идти, коли Дорошенко не за вольности, а за самую волю нашу идет? – Мазепа на мгновение замолчал, устремив на незнакомца пристальный взгляд. – Эх! – вскрикнул он, ударяя его по плечу, – вспомни, друже мой, притчу мудрого Соломона о двух матерях и ребенке, тогда и увидишь правду. Родная-то мать своего ребенка чужой уступала, лишь бы только он живым остался, а чужая хотела, чтобы его надвое перерубили. Так вот и Дорошенко. Разве он о своей булаве печется? О целостности Украины. А кто над ней будет гетмановать, за то он не стоит. Вспомни, разве не хотел он уступить свою булаву даже Бруховецкому, лишь бы соединить Украину?

Незнакомец со вниманием слушал Мазепу, видно было, что речь его уже западала ему глубоко в душу, но при последних словах брови незнакомца нахмурились.

– Ге, что вспоминать! – произнес он угрюмо. – Тогда ведь и все Запорожье, и мы все, как один, за Дорошенко стояли, и как все складывалось хорошо! Эх! – Он вздохнул глубоко и с досадою махнул рукой. – Вот ты все стоишь за Дорошенко и выхваливаешь его, а вспомни сам, сумел ли он воспользоваться придатной минутой? Он, гетман, сам усакал от войска! И в какую минуту полетел он в Чигирин жинку стеречь и тем разрушил все дело! Вот за этот самый поступок и отвернулись от него сердца всех запорожцев. Бабий! – последнее слово незнакомец произнес с каким-то особенным презрением и, поднявши высоко заплесневелую фляжку, перегнул ее над своим кубком.

Тусклый свет свечи отразился в бриллианте, и камень загорелся тысячью огней. Этот блеск словно ослепил Мазепу.

«Пора, придатная минута», – пронеслось у него в голове, и сердце его замерло. Все политические соображения отлетели от него в одно мгновение... Дорошенко, Ханенко – все отошло на задний план, он только и помнил, что теперь как раз настала удобная минута для того, чтобы перевести разговор на кольцо, и решил начать.

– Что ж? Это верно, – заговорил он каким-то напряженным голосом, – тем своим вчинком нанес гетман всему войску большой урон. Виноват, сам знает и кается... Да, все сердце! Ох – ох! – Мазепа вздохнул. – Кто из нас без греха? Вот и ты, – Мазепа сделал над собой невероятное усилие и улыбнулся, – все, гм... на бабийство нападаешь, а перстень дивочий носишь... хороший перстень, хороший, а ну-ка, покажи его.

– Изволь! – незнакомец снял с пальца кольцо и подал его Мазепе. – Фу, да и холодные же у тебя руки, словно у жабы!

– Замерз я, – произнес с какой-то неловкой улыбкой Мазепа и, положив кольцо на ладони, жадно впился в него глазами. На внутренней стороне кольца виднелось изображение двух соединенных рук. Не было сомнений – это было его кольцо, его! Кровь ударила в лицо Мазепе, рука его задрожала – и кольцо со звоном покатилося на каменный пол. Но это происшествие случилось кстати: с необычайной поспешностью бросился он поднимать перстень и скрыл таким образом свое взволнованное лицо. Через несколько секунд ему удалось отчасти овладеть собою, и он занял снова свое место.

– Вот так случай, чуть – чуть было не потерял твой перстень... Тогда, думаю, и головы бы моей не пожалел. Хе – хе! Верно, какая-нибудь чернобровая на память подарила? – Мазепа



попробовал подмигнуть глазом и улыбнуться, но улыбка не вышла, и вместо нее на лице его появилась какая-то гримаса.

– Да нет, какая там чернобровая! – горожанин махнул со смехом рукой. – Слава Богу, с этим товаром не знаюсь!

Мазепа вспыхнул.

– Не... не знаешься? – произнес он поспешно, забывая свою осторожность. – Так где же ты достал его, где?..

Горожанин с удивлением взглянул на Мазепу: лицо последнего всеми своими чертами изображало одно ожидание и нетерпение, глаза так и впивались в незнакомца, в его уста, словно хотели поймать готовое вылететь из них слово.

– Купил, – произнес он, – да скажи на милость, что это с тобой?

Но Мазепа не слышал его вопроса; все лицо его просияло от радости.

– Купил, купил? – вскричал он, вскакивая с места.

– Да что это с тобой? Охмелел ты, что ли? – вскричал в свою очередь изумленный незнакомец и также поднялся с места.

– Где же, где купил? Вспомни... скажи правду... на Бога! – продолжал Мазепа хриплым, прерывающимся голосом.

– В Богуславе, у жида.

– Когда же?

– Да так, с год тому назад.

– О Господи, что же это? Друже, брате! – Мазепа страстно стиснул руки незнакомца. – Что хочешь возьми с меня, только укажи мне его, укажи!

– Да расскажу все и укажу все, если ты только объяснишь мне раньше, что это с тобой случилось, как увидел ты мое кольцо? Знакомо оно тебе, что ли?

– Ох, как знакомо! – вырвалось у Мазепы помимо его воли горькое восклицание. Он опустился на лавку, выпил стакан вина и, проведя рукою по волосам, заговорил уже спокойнее. – Всю тебе правду скажу, всю.

Незнакомец также присел к столу и устремил на Мазепу полный любопытства взор.

– Видишь ли, – продолжал после минутного молчания Мазепа. – Кольцо это, которое ты носишь на пальце, мое. Да, мое, – повторил он, заметив изумление, отразившееся на лице незнакомца, – и купил я его для своей невесты, и эти вот руки, которые видны вот здесь, на внутренней стороне, велел вырезать в знак того, что и мы с нею сплетем навек свои руки. Да доля судила иначе! – по лицу Мазепы пробежала горькая усмешка. – Теперь вот не знаю, найду ли хоть труп ее где-нибудь на земле.

– Вот оно что, – протянул сочувственно незнакомец, – так объясни мне, как же все это случилось, все расскажи: может, и я тебе, брате, в чем-нибудь пригожусь.

Мазепа в кратких словах передал незнакомцу всю историю разграбления хутора и исчезновения Галины.

– Вот видишь ли, – окончил он, – целый год, а может быть, и больше, как я уже говорил тебе, не был я на Украине, все искал хоть какого-нибудь следа: перерыл весь Крым, был и в Цареграде, всюду расспрашивал, всюду искал, – и не нашел нигде ни слуха, ни следа. И вдруг вот тебя с этим кольцом посылает мне Господь навстречу!

– Фу, ты, Господи! Словно в сказке все слышу. Ну, иначе, если уж Господь послал меня тебе навстречу, так я и оправдаю его волю! – вскрикнул весело незнакомец, ударяя по столу рукой. – Перво – наперво, бери себе кольцо, – оно твое – и носи его на здоровье.

– Но постой, ведь ты потратился...

– Дурныця, – возразил шумно незнакомец. – Бери его, может, оно тебя и к твоей Галине приведет.

– Спасибо, спасибо, друже, – произнес прочувствованным голосом Мазепа, крепко сжимая руку незнакомца, – только если уж так, то позволь и мне сделать тебе на память небольшой дарунок. – С этими словами он отцепил от пояса драгоценную люльку, украшенную золотом и бирюзой, и передал ее незнакомцу.

– Отлично!.. – вскрикнул тот с веселым смехом. – Вот эта штука по мне, ей – богу! Знаешь, как в песне говорится, – незнакомец задорно подмигнул левым глазом: – «Мени с жинкою не возиться, а тютюн да люлька казаку в дороге знадобится!» Ха – ха! Верно! Ну, а теперь слушай меня дальше: очень ты мне понравился, и не хочу я, чтобы такая умная голова из-за кохання гинула, а потому слушай мой приказ: давай почоломкаемся, брате, да и ложимся сейчас спать, ехать уже поздно, а завтра чуть свет едем мы с тобой в Богуслав, не я буду, если не отыщу тебе того жида.

Наступал холодный осенний вечер. Целый день моросил мелкий дождь, но не тот теплый, ласковый, что в летние дни падает иногда незаметной росой и своей влагой умеряет зной дня, а ядовитый, промозглый, налетающий со всех сторон косыми прядями и хлеставший злорадно несчастного путника, застигнутого в дороге.

В волнующейся мгле, по дороге к женскому монастырю, двигались две фигуры.

– Ой, замерзну, – запротестовал жалобно хлопец, шагавший по грязи вслед за какою-то длинной фигурой, колебавшейся среди тумана мрачным силуэтом. – И за шею, и за пазуху вода льется. Зуб на зуб не попадает... Хоть ложись да сдыхай!

– Эге, нежный! – огрызнулся шедший впереди путник, вооруженный огромной палкой с железным наконечником. – А целую неделю мокнуть под холодным дождем не пробовал? А спать в луже и примерзнуть в ней под утро не приводилось? Хе! Хе!

– Да я всякого лиха тоже попробовал, а вот что-то теперь неважно, ноги не слушаются!..

– Ну, потерпи, хлопче, трохи; вот монастырь скоро, – там и согреемся, и подкрепимся... вот как в Чигирине было... помнишь, у молодой хозяйки?..

– Ох, – вздохнул хлопец, – то ж хозяйка была, молодая господня, а там черницы; пожалуй, «поднесут еще черницкого хлеба»!<sup>4</sup>

– Хе – хе! Не любишь? – засмеялся хрипло старший путник, остановившись, чтоб перевести дух.

– Да где же этот монастырь? Идем, идем, и конца нет... Может быть, сбились с дороги?

– Чтоб я сбил! Го-го! Не на такого напал! И в глухую ночь потрафлю всюду... Вон, гляди, чернеет во мгле длинная полоса, то мурья монастырские.

– Так поспешим! – обрадовался хлопец.

– Стой, попробую выкурить люльку: в монастыре не годится... не позволят.

– Дядьку, голубчику, бросьте вы люльку... Совсем становится темно... да и тютюн и губка мокрые, верно, как хлющ.

– А вот посмотрим. – И знакомый им нищий присел на корточки, закрылся кереей и стал осматривать свои курительные припасы.

Хлопец натянул на голову свитку и с тоской ждал, чем окончится попытка строгого дядьки; но, к счастью хлопца, все оказалось у нищего перемокшим, и он, плюнув сердито, злобно поднялся и зачастил к монастырю. Хлопец почти бегом пустился за ним, чтобы не отстать и не потерять тропы в наступившую темень.

Вскоре вырезались из мрака высокие стены с укрепленной башней брамой. Путники подошли к самой бреме, и старший начал стучать в нее своей клюкой, но на его энергичные удары в окованные железом ворота никто не откликнулся, только ветер ворвался с воем под своды башни и закружил холодной хлябью.

---

<sup>4</sup> «Поднести черницкого хлеба» – пословица, означающая вытолкать в заговор.

Нищий удвоил удары; они звонко сыпались на неподвижные ворота и глухо терялись вдали. Наконец отворилось небольшое окошечко над брамой – и в него просунулась чья-то голова; при абсолютной темноте нельзя было распознать даже, кому принадлежала она: сторожу или чернице. Но раздавшийся грубый голос сразу рассеял недоумение:

– Кто там ломится ночью в браму и благочестивым людям не дает покою?

– Благословен Бог наш ныне, и присно, и во веки веков, – проговорил жалким голосом нищий.

– Аминь! – оборвал его сторож из окошечка. – Чего надо?

– Впустите, ради Христа, пропадаем от голоду и холоду... Господь Бог вам отблагодарит за ласку!

– Не велено! – отрезал привратник.

– На Бога! На милосердь! – замолил нищий. – Не допустите, святые отцы и преподобники, погибать христианским душам! Ведь в такую негодю добрый хозяин и собаки не выгонит из хаты, а вы не даете несчастным приюта!..

За окошечком послышался какой-то разговор; в нем участвовал, очевидно, и женский голос.

– Не можно впустить, – отозвался наконец из окошечка стражник, но уже более мягким тоном, – приказ строгий вышел, чтоб, значит, никого... без дозволения паниматки игуменьи, а особливо, коли мужской плоти, так чтоб «а ни духа»!

– Да чем же мы виноваты? Какою плотью наделил Господь, с такой и носись... Разве противу Бога возможно?

– Так-то оно, так, а и супротив уряду невозможно: одно слово – приказ!

– Так что же это, нам пропадать пропадом, что ли?

Хлопец при этом возгласе нищего взвыл и заголосил жалобно.

Опять последовал между привратником и, очевидно, черницей беглый разговор.

– А вы кто такие будете? – послышался женский голос.

– Божьи люди, калики перехожие, – ответил жалобно нищий, – именем Христовым ищем приюта... из далекой страны, от самого азията идем, где Гроб Господень... Явите Божескую милость... Спасите погибающих!..

– Ой, пропаду, пропаду! – завопил при этом и хлопец. – И рук и ног не слышу... Духу нема!

– Ну, что же я поделаю, – возразил на какое-то замечание стража женский голос, – коли строго заборонено пускать ночью кого бы то ни было, даже на черный двор?.. Да еще знаешь, кем заборонено? Не только паниматкой святой, а бери повыше... Так что ж, тебе хочется быть казнену, что ли?

– Да ведь жалко же и их, – отозвался привратник. – Божьи люди ведь тоже!

Голоса опять смолкли и зашептали о чем-то неслышно.

– А вы бы прошли дальше, – заговорил снова нерешительно сторож, – гонов пять (гоны – 1/2 версты) под горой есть наш же монастырский поселок, там и переночевали б...

– Да что ты, раб Божий, смеешься над нищими, что ли? Я слепой, а поводарь мой – дитя малое... ступить от усталости не может, околел, задуб от холода... да и роски во рту у нас не было уже другой день... Уж коли Божья обитель отказывает нам в приюте, так мы лучше околеем у этой брамы, пускай уже и грехи наши возьмут на себя немилосердные люди...

Последнее слово нищего, очевидно, подействовало на монашенку; она крикнула: «Обождите!» и куда-то поспешно удалилась. Спустя немного времени она снова появилась у окошечка и сказала решительно:

– Святая мать игуменьи спит, и будить ее невозможно, да из этого ничего бы и не вышло; а вот мать экономка что придумала: пустить вас подночевать в чуланчик, что возле брамы налево; там все-таки затышок и сверху не каплет, а на черный двор – ни за що! Вот тебе ключ

от чулана, а вот пироги и кныш (особого рода хлеб с укропом) на подкрепление... Там в чуланчике найдете и сено, и попоны... Ну, Господь с вами! – закончила она свою речь и захлопнула наглухо оконце.

Нищий почесал затылок и стал ощупью искать с правой стороны дверь; хотя у наших путников и исчезла совершенно надежда обогреться и обсушиться у пылающего очага и поведерять горячей пищей с келехом меду, но и предложенный монастырем приют обещал все-таки больше удобств, чем черная осенняя ночь с ледящим дождем и пронзительным ветром.

## XVII

Чулан оказался совершенно сухим и закрытым от сквозняков. Путники наши скинули верхнее, промокшее до нитки платье и, накрывшись попонами, уселись на сено вечерять. Нищий вынул из-за пазухи флягу оковитой, без которой он никогда не пускался в дорогу, отхлебнул несколько добрых глотков живительной влаги и передал ее хлопцу:

– Ну, закропи, хлопче, душу и ты, а то она у тебя еле держится в теле.

Хлопец дрожащими руками схватил флягу и прильнул к ней губами.

– Годи! – остановил наконец усердие поводыря нищий. – А то всю вылакаешь и лопнешь... На вот кусок кныша и пирог с горохом.

Согревшись под попонами, а особенно от оковитой, путники принялись утолять свой волчий голод. Долго, пока не доедено было все до последней крохи, стояло в конуре молчание, прерываемое то завыванием злившейся бури, то чавканьем ртов. Наконец, покончив с вечерей и добросовестно крякнув, заговорил нищий:

– Эх, потянуть бы люлечки, да пока не просохнет тютюн, ничего не поделаешь! Н-да! Важно бы было: и червяка заморили, и согрелись трохы.

– А под утро снова замерзнем, – заметил, позевывая, хлопец.

– Чего доброго! Черницы не пускают, хоть сдыхай! Выходит, что и наша справа не выгорит, а без этого хоть и не возвращайся за Днепр.

– Да что там такое? – любопытствовал хлопец. – Шляемся по всем дорогам, а чего – и в толк не возьму.

– Все будешь знать – рано состаришься, – хихикнул нищий, – ты и без того рано в гору пошел, пришлось уже мне тебя сверху снять и поставить на землю.

– Да, век не забуду, – проговорил глухим, дрогнувшим голосом хлопец, затрепетав внутренне при одном воспоминании о том, на что намекал нищий.

– Ну, так, стало быть, и нужно пробраться нам в монастырь, а не то, пожалуй, и я пойду в гору... Но как это сделать, и ума не приложу.

– Да зачем же в монастырь, дядьку, вам нужно?

– А вот зачем: только ты смотри, не разболтай, а то я язык вырву твой из горлянки! Видишь ли, в этом монастыре есть затворница или, проще, узница, потому что не по своей воле в черницы пошла, а засадили... А персона-то она знатная, вельможная, и от одного вельможи наказ есть – найти ее, свидеться и передать лист...

– Ой – ой – ой! Как же это учинить, коли доступу нет?

– А вот я и маракую: доступить – худо, а не доступить – еще того хуже: вельможа не пощадит... А если удастся, то озолотить может.

– Да как же удастся? Кто поможет?

– А никто, как ты, хлопче...

– Я?! – даже вскочил от изумления поводырь на ноги.

– Ты, ты! Я уже раскинул думками, и выходит, что только ты!

– Да как же? Куда мне?

– А вот как: у тебя смазливенькое личико и длинные космы, если одеть тебя в жиноче убранья, то ты сойдешь чудесно за дивчину.

– Я дивчиной не хочу быть, – обиделся хлопец.

– «Не хоче коза на торг, а ведуть»...

– Да и где же достать мне сподницу, сорочку и платок, и там еще что?..

– Украсть.

– Что вы, дядьку? Как же злодейковать я стану?.. Да и где?

– Тебя не учить мне: знаешь, как и когда! Без этого – и мне, и тебе погибать, так и знай! Ты вот говорил, что век не забудешь моей ласки, что от виселицы тебя вызволил, – так и отслужи мне своей помощью в справе. Мы завтра выйдем отсюда и подночуем в каком-либо хуторе или селе, мили за две; там ты и оборудуешь с женским убраньем, да и вернешься окольными шляхами сюда под браму, переодевшись уже за дивчину: тебя-то, как женщину, и пропустят... Ну, выдумашь какую-либо жалкую байку, что ты сирота, примером, что тебя польский пан преследовал, что ли, да заставлял принять католическую веру... А ты, мол, и ушел, молишь Христом – Богом мать игуменью принять тебя в монастырь, что у тебя, мол, сдав-на лежит душа к чернецкой жизни... и такое разное...

– Ну, а как узнают, что я не дивчина, а холопец?

– Не бойся, им и в голову не придет. Осторожнее только будь, да и сидеть тебе в монастыре будет недолго.

– А что же мне в монастыре делать?

– Разведать, где, в какой келье находится эта знатная затворница, дать ей знать, что есть посланец от одного заднепровского вельможи... А я не замедлю и таки проберусь сюда... ну, ты мне и укажешь...

– Ой, страшно, – вздохнул холопец.

– Страхами не задавайся, а уповай на Божью ласку, – это доброе дело, за него и все твое прошлое лихо забудется и еще доскочешь награды... Только вот что: бежать от меня и не думай: найду тебя под землей и под морем и уже не помилую!

Холопец заскрежетал от бессильной злобы зубами и замолчал.

– Ну, пора и на бок! – закончил нищий. – Натомились и настудились, спочинь и ты, холопче, а после сна все страхи пройдут...

Повернувшись к стенке, нищий захрапел богатырским храпом, а холопец еще долго вздыхал и придумывал, как бы сбежать от этого благодетеля, но наконец и его сердечную тревогу победил налетевший молодой сон...

В глубине монастырского двора, за жилыми постройками, в угловой башне, была келейка или, скорее, темница, скрытая от всякого любопытного глаза. Вход в эту затворничью конуру шел из подземелья по узкой лестничке, проведенной внутри стены. Это крохотное помещение, с высокими сводами, без дверей, так как лестница оканчивалась лядой в полу, напоминало скорее каменный мешок, в который запрыгивали навек живого человека. Единственное небольшое окно было перекрещено железными скобами и упиралось в глухую стену. И в ясные летние дни проникало сюда мало света, а в темную осень царил здесь постоянно непросветный мрак, едва смягчаемый небольшой лампадкой, теплившейся у образа Спасителя в терновом венке. Но часто лампада эта гасла, никто не являлся подлить в нее масла, и заключенная должна была сидеть в абсолютном мраке, сидеть да слушать завывание ветра, врывающегося в слуховое окно, либо следить за стоном пугача, кричавшего с чердака башни: «Поховав, поховав!» Вот и теперь в круглом углу, на твердом ложе сидит, склонивши голову на ладони, опершись локтями в колени, какая-то женская фигура. Лампада потрескивает, то вспыхивая судорожно, то совершенно почти замирая, очевидно, догорает в ней последняя капля масла. Женская фигура сидит неподвижно, словно окаменевшая, напоминая собою изваяние из горного мрамора. Строгие складки власяницы, облекшей с головы до ног ее тело, не могут все-таки скрыть изящных линий молодой фигуры и обнаруживают стройность ее и красоту... Долго неподвижно сидит затворница, едва заметно подымается ее высокая грудь – ни вдоха, ни стона! Сначала здесь, в этой тьме раздавались глухие рыдания, прерываемые воплями отчаяния, но немой, каменный гроб подавил эти порывы бурного горя, превратив его в тупое отчаяние. Все умерло там, за стеною, все умерло в истомленном сердце, и сама она живет ли, или догорает, как эта лампада, – не может себе дать отчета молодая черница, сознание ее подавлено этой живою могилой.

Но вот лампада затрещала сильнее и вспыхнула ярче, черница вздрогнула и приподняла свое лицо; последнее пламя лампады озарило ее тонкие черты, полные чарующей прелести и отуманенные безысходной тоской. Лампада погасла, и все потонуло в кромешной тьме.

– Ах, когда бы скорей и мой конец! – прошептала черница. – Погаснуть и погрузиться в безрассветную ночь... Лампада еще вспыхнула перед смертью, а мне уже не вспыхивать, а дотлевать... Забвения, забвения лишь молю! – воскликнула она в отчаянии и, заломив руки, упала на жесткое изголовье. Но как ни молила она о забвении, а память, как нарочно, берегла образы прошлого, воскрешала их, и из мрака ночи выплывали живые картины минувшего, терзая сердце узницы утраченным счастьем.

Вот он, красавец с голубыми глазами, точно стоит перед ней с обаятельной улыбкой, пылкий, и нежный, и беспечно веселый, о, он не даст ни заскучать, ни задуматься; и шутки, и рассказы, и широкие планы будущего – не наслушаться...

– Да, он будет гетманом, я этому верю! – воскликнула узница. – Он не задастся нелепыми планами, как мой аспид, он не якшается с чернью, с голотой!

Смолкла черница, но воображение перенесло ее снова в знакомую уютную светлицу; надоедливый малжонок (муж) далеко там, за Днепром, а она одна, с подругой своей Саней, да и та где-то в дальних покоях, а он, неожиданный гость, шепчет ей про любовь, жжет пламенным взором... Как закипела у нее кровь, вздрогнуло сердце, ум помутился!.. К чему было лукавить, бороться? И он и она поняли сразу, что кохают друг друга безумно, а ей, с той минуты, противным стал ее муж; и прежде он был скучен, вечно занят, вечно в отлучках, а теперь стал ненавистен... Ну, а ей, молодой, жить хотелось, и она не долго боролась, не побоялась греха...

– Ох, и караюсь же за него, караюсь! – простонала затворница. – Лучше бы муж убил меня, так нет же, придумал такую муку, какая источила вконец мое сердце... А тот, другой, коханный, и не откликается, оставил меня на поругание... не пытается даже спасти... Забыл, забыл!.. Говорят даже, что женился... или, быть может, нарочно пустил этот слух мой изверг, чтоб доконать уж меня? Ах, когда бы скорей мой конец! Хоть бы зелья достать где-либо, шнурок!.. Какая нудьга здесь, в этом каменном склепе, в этой черной могиле!

Но ничто не откликается на вздохи и стоны несчастной. Толстые стены тюрьмы угрюмо молчат, темная ночь убивает надежду и томительно – тихо ползет.

В это время послышался под полом стук, щелканье ключа, и ляда, приподнявшись, тяжело звякнула железными скобами о половицы; в отверстии показалось сначала мутное световое пятно, закрывшееся потом мрачной тенью, и наконец, в этой келье – тюрьме, тяжело дыша и покашливая глухо в кулак, появилась длинная, тощая, согбенная фигура старой монахини. Черница поставила на пол фонарь, уселась на единственный табурет, торчавший в келье, и долго сидела, молча, обессиленная удушьем.

– Тебя грехи обсели, а я надрываю себя, – проговорила она наконец злобно и закашлялась. – Последние силы трать...

– Да ведь не по моей воле, – отозвалась тихо молодая черница.

– Еще бы! У тебя воли нет и не будет! Натешилась ты ею, и годи! За этакую-то волю тут будешь гнить до смерти, а по смерти кипеть станешь в пекле, в серке пекельной, и не будет тебе пощады ни от людей, ни от Бога!

– Убили бы, задавили бы: мне пекло легче, чем ваши терзания!

– Ага, чувствуешь, – заметила черница. – А на что снова потушила лампаду?

– На что вы масла не даете? Это я буду матери игуменье жаловаться.

– Хе – хе! Жалуйся! Отсюда хоть разорвись, так твоих криков никто не услышит... а сюда мать игуменьи не зайдет... А вот за такие слова твои я на тебя эпитимию наложу: и голодом проморю, и жаждою, и на гречихе лежать заставлю, и на горохе...

– Я не раба ваша! – воскликнула узница, грозно поднявшись. – А вы все рабы мои!

– Хе – хе – хе! – захихикала злорадно старуха. – Старое вспомнила? Прошло, минуло! Теперь ты в нашей, или в моей, власти, и что хочу, то и сделаю.

– Не сделаешь! Стоит только мне побороть свое сердце, покаяться перед малжонком, и он простит, простит все, я знаю, потому что любит, а коли простит, – то власть моя, и я растопчу вас ногою! – Глаза у затворницы сверкнули огнем, голос зазвучал властно, а повелительный жест заставил даже присесть злобную досмотрщицу.

Длилась минута молчания. В черством сердце черницы зазмеился было страх, и она уже готова была уступить узнице, прикрыть лаской суровость, но кипевшая злость пересилила это чувство.

– «Доки сонце зийде, роса очи виест»! – произнесла она тихо и самоуверенно. – Пока его ясновельможность навернется сюда, а он без зову матки игуменьи и не наведается, то я буду росой, и не простой, а ядовитой, какая проедает не только очи, но и сердце насквозь. Сломлю твою пыху, а с угроз твоих буду смеяться. Да если что, – подошла она вплоть до затворницы и прошипела шепотом, – и придушить смогу, чтоб не болтала... Умерла, мол, с тоски по дружке, да и концы в воду!

– Так убейте меня, изверги! – воскликнула затворница и распахнула свою власяницу, обнажив тонкую, изящную шею.

– Не спеши! – проговорила спокойно старуха. – Гордая ты, непоклонная! Смирения нет у тебя, а без смирения греха не искупишь! Все-то я тебе, рабе Божьей, говорила нарочно, – продолжала она смягчившимся голосом, – чтоб испытать дух твой, вывести сердце... и выходит, что ни молитва, ни слово Божье, ни удаление от прелестей мира – ничто не ублажает твоей строптивой души. С грехом великим пришла ты сюда, чтоб замолить его, и мы все молимся о смягчении твоей гордыни, о возвращении твоему сердцу церковью освященной любви... Вот и я, едва волочу ноги, а плетусь к тебе побеседовать по душе, прочитав слово Божье... Сил у меня недостает приносить сюда вовремя масло и пищу, хоть бы какая помощница, а то мать игуменьи на меня одну возложила, доверяет лишь мне... Ну и тружусь, тружусь до последнего издыхания, – и старуха закашлялась страшным, затяжным кашлем, хватаясь судорожно руками за свою вдавленную, высохшую грудь.

Когда наконец кашель унялся, то черница вынула из-под покрывала книгу, положила ее на табурет, поставила тот же фонарь и сказала узнице строго:

– Встань и прочти сегодня, при мне, житие святой великомученицы Варвары... Только на колени стань.

Покорно подошла узница к табурету и опустилась на колени, а надсмотрщица – черница села на ее постели. Началось монотонное чтение Четвы минеи...

Повествование дошло уже до страшных пыток, учиненных по повелению отца над его дочерью христианкою, как вдруг из-под полу кто-то постучал, а потом окликнул черницу:

– Преподобная сестра! Зовут тебя!

– А что там? Я занята...

– Прибежала какая-то сиротка полумертвая... дрожит, плачет, просит приюта; говорит, что ее пан хотел заставить латинство принять... Подросток еще, а столько натерпелась!

– Ну, а при чем же я тут? Сказали бы матушке игуменье.

– Почивает она; а как ты, преподобная сестра, по ней тут, то тебя и просят, чтоб расспросила и распорядилась.

– Ох, все труд, да труд! – поднялась она, крикая и стоня. – Ну, дочитай уже сама, моя послушница!.. Фонарь оставлю, а масло потом принесу... Смири сердце и возлюби того, кого и Господь тебе любить указывает, а греховные помыслы отмети от себя навеки!..



## XVIII

В углу двора, у браны, толпилось несколько монахинь и монастырских служек; всех потянуло сюда любопытство поглядеть на девочку, ворвавшуюся с таким гвалтом в монастырь. При однообразном, томительно – скучном течении тамошней жизни всякое, незначительное даже событие, врывавшееся из широкого внешнего мира в эту могилу, производило здесь сильное впечатление на затворниц, возбуждая у них интерес к жизни, раздражая уснувшие под власяницей инстинкты; сегодняшний же случай был незаурядным, а потому и неудивительно, что лица всех, сбегавшихся к бране, играли оживлением, глаза искрились любопытством, движения отличались необычной энергией. Посреди толпы стояла девочка, в несколько длинной запаске, тщательно обмотанной вокруг тощего, вытянутого стана и накрепко опоясанной, в несколько оборотов, красной окравкой; на плечах у девочки неуклюже болталась зеленая баевая с красными усиками корсетка, разорванная в нескольких местах, а голову плотно закутывал черный, с золотистой каймой платок. Вся одежда девочки была запачкана грязью и не гармонировала в своих частях, но на это не обращали внимания, так как глаза всех были устремлены на худенькое, миловидное личико, а уши всех горели нетерпением услышать скорей приключения интересной беглянки.

Но девочка больше плакала, кутаясь в платок, дрожала, переминалась босыми, посиневшими от холоду, ногами. Казалось, что гнавшийся за ней ужас не только не отпустил ее в этой обители, а еще больше впивался в нее незримыми когтями...

– Да ты не плачь, не бойся, любая, тут тебя никто не обидит, – ободряла девочку только что подошедшая молодая черничка, – а что тебе приключилось такое?

– Мучил ее пан польский, католик... Хотел в католическую веру выхрестить, – посыпались со всех сторон сообщения новопришедшей.

– Ах, грехи-то какие! – закачала сочувственно головою черничка. – Так ты ж успокойся, девочка, сюда пан не придет. А может, тебя еще что путает?

– Волки... – всхлипывала девочка. – Гнались, насилу сховалась... на дерево влезла... и корсетку было порвали...

– Господи, страхи какие! – отозвались сердечно в толпе.

– Бедная ты, бедная, – погладила ее ласково по голове черничка, – забудь про них, сюда и волки не перескочут.

– Устала... два дня ничего не ела, – продолжала жаловаться беглянка.

В это время подошла к толпе старуха черница, опираясь на длинный посох, и остановилась, не замеченная никем, позади.

– И отдохнешь, и накормят, – утешала приветливо черничка.

– Накормят, накормят, – подтвердили и другие в толпе.

Девочка, видимо, успокоилась, перестала хныкать, только дрожь не покидала ее, то затихая несколько, то потрясая вдруг все ее тело.

– Когда б меня совсем оставили здесь, – заговорила вдруг тихим, просящим голосом девочка, – я бы работала, всех бы слушалась... Нет у меня ни батьки, ни матери, хотелось бы в черницах жить... с вами молиться... Ох, не пускайте меня, святые сестрички, если не примете, то я на себя наложу руки!

Последние слова сиротки произвели на всех трогательное впечатление и завоевали расположение к ней всей толпы.

– Конечно, как же пустить? Круглая сирота! Кого ж и приютить, как не такую несчастную, – раздалась сочувственные возгласы.

– О, да! – подхватила восторженно и молодая черничка. – Не дадим тебя на знушанье лягу, упрячем тут.

– Ой, не давайте, не давайте! – протянула девочка, складывая молитвенно руки.

– А согласится ли принять святая мать игуменя? – шепнула на ухо молодой черничке соседка, но так, что и другие, ближайšie, услышали. – Жалко-то сиротку, страх, а вдруг не захочет святая мать супротив пана пойти?

– Супротив ляха. Что ты! Да за нее и наш гетман заступится, он ведь очень поважает нашу матку святую.

– Поважает, еще как почитает, – отозвались соседние голоса.

– Так вот, умыть да переодеть в чистое эту бедняжку и повести ее к матке игуменье...

– И повести сегодня же, не откладывая! – подхватили ближайšie.

– Да, да, сегодня, – поддержали дальние, – пока еще ее преподобная мосць не опочила.

– Только умыть скорее, надеть чистую сорочку и по-слушницкую ряску, – советовали одни.

– Нет, лучше так, как стоит, и повести, – возражали другие, – пусть святая матка увидит, в каком она виде прибилась сюда!

Начался по этому поводу спор.

Еще раньше, при первом предложении чернички переменить беглянке белье, лицо девочки покрылось смертельной бледностью, а теперь, при общем говоре, глаза у нее расширились от ужаса, и она вся затрепетала. Ужас до такой степени оледенил мозг нашего хлопца, так как это был он, что последний не мог даже следить сознательно за перипетиями спора. Мысль, что вот сейчас разденут его, узнают и повесят, гвоздем сверлила его голову и вызывала один только рефлекс – броситься наутек; но кругом стояла толпа; ворота были заперты железными болтами, и со всех сторон подымались высокие зубчатые стены – мурь.

Девочка безумно поводила глазами вокруг и стучала зубами...

Все увлеклись спором и не обратили внимания на такую резкую перемену в настроении духа сиротки; а она даже что-то шептала и о чем-то просила, но ее посиневшие губы только лишь шевелились, а не издавали ясного звука. Спор между тем приходил к концу. Большинство высказалось за то, чтобы привести сиротку чистой, обмытой, так как настоятельница была враг всякой нечистоты и не могла ее видеть; одежду же, в какой прибежала девочка, решили показать отдельно и пояснить подробности.

– Ну, вот и пойдем, любая! – обратилась теперь к девочке молодая черничка и взяла ее за руку.

Но это прикосновение вызвало у девочки новый пароксизм паники: она заметалась и закричала, забывши со страха все наставления нищего и всю осторожность в речах.

– Не треба! – завопила она. – У меня голова... я хворый... – и зашаталась, услышав свое последнее слово.

К счастью, толпа в это время отхлынула, а обмолвку заметила лишь черничка, да и то не придавала ей подозрительного значения, а приписала ее лишь одурению девочки от пережитых ужасов.

– Бедненькая, аж заплетается языком! – произнесла она с непритворным участием. – Не бойся! Годи! Все лихое минуло! Вот пойдем, приберемся... Мать игуменя добра. Как мать родная, приютит тебя, защитит от напастников, и заживешь ты у нас спокойно, хваля мило-сердного Бога... Ну, идем же!

Но девочка упиралась и задыхающимся голосом молила:

– На Бога! Не треба! Ой, голова!.. Пропала ж я!..

– Да что ты ее мучишь? – раздался в это время строгий старческий голос.

Все оглянулись; стояла преподобная сестра Агафоклия, помощница и правая рука настоятельницы, за которой и послано было сейчас же при появлении девочки на монастырском дворе. Все почтительно перед ней расступились, а почтенная старица продолжала:

– Ведь зараз видно, что едва стоит на ногах... Озябла, одубла, обессилела от голоду и страху; дивчатке давно бы поесть что дать, да отогреть, да пустить отдохнуть, в себя прийти, а она, прости Господи, задумала мыть ее да наряжать. Для какой надобы? Суеты ради, истинно, и только! Мать игуменья давно опочивает, и ей не нужны ваши наряды... Вот поглядите, какая, мало разве намучилась, так чтоб и дух из нее вытрясти, что ли! Может, у девочки огневица уже... а они – мыть! Вот ты, Фросина, – обратилась старуха к молодой чернице, стоявшей все еще возле девочки, – возьми ее в свою келию, да напой согретым пивом либо наваром из яблок, накорми, коли захочет есть, а главное, уложи спать и не буди к заутрене, пусть добре выспится... а одежду и все положи; встанет – и сама оденется...

Хлопец, благословляя в душе свою благодетельницу старуху и шепча бессвязную молитву, покорно пошел за черничкой.

В тот же самый вечер к крайней хате поселка, принадлежавшего женскому монастырю и ютившегося у подножья горы версты за две, подходил знакомый нам нищий. Хозяин хаты, добродушнейшее, по выражению лица, существо, на приветствие незнакомца: «Слава Богу!» ответил ласково: «Во веки слава!» и пригласил гостеприимно странника в свою хату разделить кусок хлеба и кухоль какого – никакого питва.

– Спасенная душа у пана добродия, – ответил, набожно перекрестясь, странник, – блаженны странноприимцы, яко сами будут приняты в Царствие Божие, – проговорил нищий.

– Эх, человече Божий, кого же нам и витать, как не молеельщиков наших, не заступников наших пред престолом небесным? – ответил с искренним чувством селянин, растворяя перед странником широко дверь своей хаты.

– Ох – ох – ох! Смеем ли мы и подумать приступить к престолу Господню? В грехах ходим, грехами подшиты, грехами укрыты... Трудимся только, а примет ли еще Всевышний труды?

В хате пылал в печке игривый, приветливый огонек, молодая хозяйка сутилась у очага, готовя вечерю, и очень обрадовалась страннику, подошла даже к его благословению, усадив его на почетное место – на покути; двое детишек подведены были тоже к нему.

– Постойте, милые хлопчики мои, жголята малые, – обнял их и приласкал странник, – дайте вот обогреюсь трохи да развяжу свою котомку, так я вам ладонки от Макария, угодника Божия, добуду, будете носить их, и никакая болезнь до вас не дотронется.

– А пан честный и в Киеве бывал? – полюбопытствовал хозяин.

– Гряду от святого места сего, от Печерских святых, от Варвары великомученицы, от Софии Премудрой... Боголепные храмы Господни и град благочестивый... А вот, – вздохнул нищий, – опять католик поседать его хочет, латинство там голову подняло и грозит, что пожрет наши храмы...

– Да разве попустят? Там же и гетман казачий, и царь московский берегут святыни?

– А ты, добродию любый, не слыхал разве, что антихрист из латинства народится, а коли народится, так супротив его никто ничего же не поделает: и храмы Божьи жрать станет, да хвостом своим аспидским станет косить православный народ, и всякия беды да туги потянет вслед за собою, и опанует (станет господствовать) мерзость запустения... тогда придет конец мира, преставление света.

– Ой Боже мой! – вздыхал хозяин, слушая с трепетом странника. – Жинко, слышишь ли ты, про какие страхи рассказывает шановный прочанин (богомалец-паломник)?

– Постой, зараз, – откликнулась хозяйка, – только задобрю галушки олифящей с чесноком да подсажу (поджарю) тарань.

По хате, действительно, разнесся аромат распаренной тарани, смешанный с тонким запахом Гречаных галушек и подправленный букетом конопляной олии с поджаренным чесноком.

Нищий повел сладострастно носом и сплюнул от подкатывавшегося под ложечку чувства голода.

– Д-да, добрая тарань, – обмолвился он, – то бишь времена злые приходят, брат на брата встает, племя на племя, народ на народ, и не токмо сами встают, а нечестивых агарян накликают и проливают кровь христианскую, и чинят руину великую, мерзость запустения, а чинить то будут и слуги антихристовы, и будут те слуги его и в княжеской короне, и с булавою... Ох, уже за святым градом залегла на полудень пустыня – руина, уже появился и такой гетман, что отдает христиан неверным поганцам в руки, по грехам нашим, по злобительству нашему, а то есть верный знак, что уже родился антихрист.

– Жинко! Чи слышишь? – затревожился хозяин. – Уже родился антихрист, и выходит, что в нашем гетманстве, и как раскинешь думками, так верно.

– Да стойте, люди добрые, – запротестовала хозяйка, – вот я вечерю поставлю и сама послушаю, – за чаркою да за ложкою веселее рассказывать.

– Хе, маху дала! – засмеялся добродушно хозяин. – За чаркою да за ложкою – некогда, нельзя же рту две работы накидать разом, а вот за кухлем доброго пива, а еще лучше доброй наливки, – так это так!

– Ну, хорошо, хорошо, – промолвила весело жинка, ставя на стол миску дымящихся гречаных галушек, потом она выложила со сковороды на полумисок поджаренную тарань, принесла поспешно с мысника (холодная кладовая при хате) флягу оковитой, а из хыжи корец доброго пива и закончила суету торопливым приглашением.

– Ну, теперь милости прошу.

Все уселись; чоловик нарезал ломтями ржанный хлеб, всегда лежащий на столе у малоросса, и налил в чарки горилки. Когда опорожнены были и фляга, и полумисок, и дважды наполненная галушками миска и в кухнях запенилось черное пиво, тогда снова начал свои пространные повествования нищий – и про русские святыни, и про чужие края, про Иерусалим неописанный, про терен, проклятое дерево, из которого жиды плели венец Христу, про Иудины слезы, что на песку валяются белыми мешочками, из которых выплаживаются змеи, про песиголовцев – людоедов с одним глазом во лбу.

## XIX

Хозяйка, уложив своих детей спать, под села к столу и все расспрашивала странника про неслыханные чуда и диковины, какие довелось Божьему человеку видеть на широком свете.

– Не хватит, жинко, не то ночи, а и дня переслушать захожего странника...

– Не то дня и ночи, а и тыжня (недели), – поправил с улыбкой нищий.

– Ну, вот бачишь! Так мы лучше попросим доброго человека остаться у нас отпочить денек – другой с долгой дороги... А пока что постели вот тут ему на лаве, бо слушать-то ушам не помеха, а языку молотить по зубам тяжеленько: и опухнуть сможет...

– Спасибо вам за ласку, добрые люди, – проговорил тронутым голосом нищий, низко кланяясь. – Господь Бог вам отдаст, это уже Его десница милосердная мне указала на такую набожную, богатую щедротами семью... Я иду себе, голодный и холодный, да думаю, где бы мне именем Христовым приклонить голову, да найти кусок хоть черствого хлеба... Ох, времена теперь наступают антихристовы, часто, не внемля Христову имени, дают нам, вместо хлеба, в потылицу – взащей... Так думаю я про все такое и журюсь, а тут добрый человек, спасенная душа, сам приглашает, угощает, как желанного гостя, и еще просит остаться... Знаете, таких святых душ уже мало на свете – вывелись! Только я вот что скажу: остаться-то мне куда как приятно, лукавить не стану, отдохнуть хочется после долгих скитаний, и рад бы я был подольше пожить в таком приюте после бурь, и дождей, и морозов, да еще в такой Божьей семье, только даром ни угла тереть, ни хлеба есть я не стану...

– Что ты, старче Божий! – запротестовали хозяева. – Чтоб мы с прохожего странника за скибку хлеба гроши брали? Да что мы, басурмане, что ли? Да за этакие вчинки нам подавиться бы следовало Божьим добром!

– Я не про гроши говорю: грошей-то, конечно, я не заплачу, потому что их нема. А я про то, что работою, трудом хочу отплатить вам, иначе я не останусь... дармоедство – найтяжкий грех!

– Слышишь, чоловіче? – толкнула своего мужа локтем хозяйка, но тот только почесал спину.

– А я, люди добрые, обрекся трудиться, – продолжал странник. – Так, без труда, я не останусь. Коли согласны, чтоб я вам помогал в хозяйстве, чтоб был вроде наймыта, то я останусь... и за ласку вашу буду благодарить.

– Да ты, святой странниче, избалуешь совсем моего чоловіка, – возразила лукаво хозяйка, – он и без того ленивенький.

– Я до своей работы не ленив, а вот до панщины...

– Какой панщины? – прервал торопливо нищий. – Разве вы подневольные?

– Нет, хвала Богу, а вот мы живем на земле этого женского монастыря, ну, стало быть, и должны послушать в работе: в полевой ли, на ихних землях, либо в самом монастыре, – дрова там рубить или другое что делать... Так вот эта работа тяжеленька!

– А, так я с радостью! – спохватился странник, обнаруживая чрезмерное усердие и непонятный восторг. – Здесь буду помогать вам за ласку, а там, на монастырском дворе, потружусь Богу за Его неизреченное милосердие.

Хозяева должны были согласиться на доводы нищего, а хозяин с особенным удовольствием обещал ему уступить свои монастырские работы.

Так и порешили. Странник остался за наймыта у добрых людей и принялся так за работу, что его нужно было постоянно сдерживать от надсады. За обедом и за вечерю рассказывал он про чужие нравы и обычаи, про святые места, про такие диковины, что слушатели раскрывали от удивления рты; между прочим, в чудесные рассказы свои он впутывал осторожно, что здешний гетман продал край туркам, что это по наущению антихриста, что настоящий христи-

анский гетман будет заднепровский... Мало – помалу его мнения начинали овладевать умами слушателей и распространяться в поселке. Но больше всего странник любил не рассказывать, а сам расспрашивать про монастырь: про его расположение, про церкви, про кельи, про нравы черничек, про мать игуменью и про всякие мелочи, даже про ходячие там рассказы; хозяин, по мере знания, удовлетворял его любопытство, понимая, что интересы Божьего человека сосредоточены лишь в божественном. Не прошло и нескольких дней, как семья сжилась со своим гостем, как с давним закадычным приятелем, и не могла нахвалиться им всем и каждому.

Старая черница после последнего прихода к затворнице более не появлялась, а вместо нее стала приносить ей скудную пищу другая монахиня; выражение лица у последней было не злое, не строптивое, а глаза обнаруживали даже у нее жалостливое сердце, но она все молчала; принесет и унесет посуду, не проронив ни единого слова, не ответив ни на один вопрос заключенной; можно было даже подумать, что новая дозорщица непременно глухонемая, и узница стала испытывать, услышит ли она ее просьбы и исполнит ли ее крайние нужды? Заключенная, между прочим, жаловалась на нестерпимый холод; черница и бровью не повела на ее жалобы, но тем не менее принесла на ночь дров. Это обрадовало узницу. Она стала молить со слезами свою новую дозорщицу, чтобы та поговорила с ней; что она-де слова человеческого здесь не слышит, что от такой муки с ума можно сойти...

Мольбы наконец тронули сердце черницы, и она, зажигая дрова и не глядя на затворницу, пробормотала неслышно:

– Не велено... Если дознаются, то беда!

– Да клянусь моими муками, моим горем, – воскликнула узница, – что никому ни единым словом я не обмолвлюсь, хотя бы ты, сестра, передала мне, что завтра меня будут четвертовать.

– Ох, и бедная ты, горемычная, – покачала головой грустно черница, – и пожалеть-то тебя нельзя... И за что это?

– За что? – заговорила горячо молодая затворница. – За то, что я сердца своего не растоптала ногами в угоду зверю! За то, что мне жить хотелось, светом Божиим порадоваться! За то, что мы, безмолвные да бездольные, считаемся у моцарей – деспотов их власностью (собственностью), их скотом подъяремным, и, наконец, за то, что они могут над нами, беззащитными, показывать свою силу! – И узница зарыдала...

Черница бросилась ее утешать, успокаивать, но долго не прекращались бурные рыдания, и узница билась у ней на груди, как подстреленная горлинка... Наконец это прорвавшееся горе утомило расшатанный молодой организм, и узница мало – помалу притихла.

– Скажи мне... Богом молю тебя... Матерью Божьей заклинаю... – промолвила прерывающимся голосом несчастная. – Долго ли меня так будут терзать? До смерти ли присуждена мне эта каменная могила?

– Ох, не знаю, истинно говорю, не знаю: про то ведомо лишь святой матери игуменье да еще преподобной матери Агафоклии.

– Это той старой ведьме, что приставлена ко мне катом?

– Ой, не говори так... грех!

– А отчего же она ко мне не приходит? Отставили?

– Заболела преподобная мать Агафоклия...

– А! Заболела? Это от лютости... она и тут от лютости да от бешенства как закашляется, бывало, так аж посинеет...

– Ой, какие слова! – всплеснула руками черница и закрыла ими со страху глаза...

– Жестокие? Такие самые, как и она мне шипела! Сколько от нее Я наслышалась и леденящих угроз и проклятий, так что же дивного, если я рада, что палача своего запеклого не буду видеть?

– Может, Господь Бог еще воздвигнет ее...

– На горе мне? Ну ее к лиху! Скажи лучше, что там нового у вас есть?

– Да ничего такого... Девочка вот одна на днях прибежала... Пан какой-то хотел окрестить в польскую веру, что ли, ну, она и вымолила у святой нашей неньки приют здесь и защиту; приняли ее в монастырские служки.

– Ах, отчего меня не сделают служкой? Я бы все работы, самые низкие, взяла на себя, только бы не сидеть здесь взаперти... в темноте...

– Потерпи, сестра; может, тебя и держат на замке из страха, чтоб ты над собой какого греха не учинила, а как уверятся, что ты стала смиренной, покорной да тихой, то, конечно, над тобой сжалятся и выпустят тебя. Сюда вот, я знаю, сажали за провины большие, так не на век, а на некое время – до покаяния... иначе вот и я через тебя, бедную, согрешила, нарушила приказ строгий и болтаю... Ох, прости, Господи, лукавую рабу твою!.. Не вводи ты, голубка, меня во искушение... Слов пару перекину, а больше и не выпытывай... Ну, оставайся с миром!

– Стой! Одно только еще слово! – завопила жалобно узница. – Скажи мне, светит ли у вас солнце, или так же мрачно на монастырском дворе, как и у меня в этой могиле?

– Ох, моя лебедочко, все про волю да про широкий свет думаешь! Ходит, ходит по небу светлое солнышко, не потухло: ясный день у нас, изморозью, как серебром пушистым, приукрашены все деревья, играют самоцветами, искрятся на свету золотом.

– Спасибо, спасибо тебе... Я буду думать про все это и думами тешиться.

– Ну, Бог с тобой; я еще навернусь... принесу масла... и лучший какой кусочек тебе, голодной, – добрая черничка опустила в отверстие и закрыла за собой крышку.

С этого дня, благодаря снисхождению монашенки, заключение затворницы было облегчено: она стала получать лучшую пищу и постоянный свет лампы, да и самая башня стала отапливаться старательнее, а главное, новая надсмотрщица перекидывалась с ней ласковым словом и сообщала некоторые новости: то о том, что крупу нашли рассыпанную в неуказанном месте и что подняты по этому поводу розыски; то о том, что дров уже нет и что преподобная тетка Агафоклия заказала монастырским селянам порубить стосы, что стоят на черном дворе; то о том, что прибывшая служка дикая какая-то, боится купели, от всех прячется и только разговаривает с молодой черничкой Фросиной, обо всем у нее спрашивает: кто здесь находится, в какой келье кто живет, кто в чести, кто в опале, сажают ли тут под замок – про все, про все интересуется девочка...

Что-то непонятное, беспричинное заставило при этом известии вздрогнуть сердце затворницы: шевельнулось ли у нее какое-либо подозрение относительно новой служки, или простое совпадение, что кто-то интересуется даже затворницами, затронуло ее наболевшие раны; она не могла уяснить себе, но почувствовала только подкрашившуюся к ней радость.

– А где же эта девочка? Тут она и останется? – загорелась любопытством затворница.

– Тут, тут... святая мать игуменя оставила... а теперь вот приставила ее к больной тетке Агафоклии; у нее, значит, она на полном послушестве.

– А Агафоклия эта еще не померла?

– Господь с тобой! – перекрестилась монашка. – Ее преподобной мосци, хвалить Бога, лучше... она уже встает и прохаживается.

– Значит, нет ко мне милосердия у Бога, или уж такой тяжкий, незамолимый грех лежит на мне, что нет ему прощенья, – заломила руки в отчаянии затворница.

– Не убивайся, сестра! – откликнулась черница сочувственно. – Быть может, что, по слабости ее, меня оставят при тебе на послугах... Коли не промолвишься, что я тебе мирволю...

– Нет, нет! Когда бы только Бог сжалился!

Но, несмотря на горячие мольбы затворницы, дней через пять явилась к ней, в эту келью – тюрьму, прежняя ее старая дозорщица; ее глаза запали в темные ямы орбит и оттуда едва блестели, но уже не злобным огнем, а тихим, умирающим; желтые щеки глубокими складками обтянули кости лица, напоминавшего теперь мертвый череп; с хрипом вырывалось из тощей

грудь старухи затрудненное дыхание, а движения были так бессильны и шатки, что можно было опасаться, чтоб не рассыпался сразу этот скелет. За старухой шла прислуживавшая во время отсутствия ее черница и какая-то девочка, длинноногая, в послушничком подряснике.

– Ну, вот я и навестила тебя... привел Господь! – заговорила после долгой отдышки старуха, усевшись на табурете. – Ты, верно, уже хоронила меня, а я вот и пришла...

Затворница стояла молча, опустив глаза, и только легкая, пробегавшая по ее телу дрожь обнаруживала охватившее ее волнение.

– А что она, как в это время вела себя? – обратилась старуха к монахине.

– Смирилась, молчит все да вздыхает... сокрушается, видимо, о грехах... Бога молит, – ответила та отчасти подобострастно.

– Ох, дал бы Бог! – вздохнула старуха. – Горда она очень, кичится своим знатным родом... Ох, коли ты хочешь хвалиться им, то и шануй его, чтобы и пальца никто не мог подложить, а то... – она опять вздохнула и подняла набожно глаза к небу.

При последних речах старухи бесстрастное вначале лицо девочки вдруг оживилось, глаза расширились, заискрились и стали бегать по келье, останавливаясь иногда пытливо на затворнице.

– Да, – продолжала старуха, – все мы под Богом, все пред Его нелицеприятным судом будем... все! И «не весте убо ни дня, ни часа»... А что тут весьма холодно? – прервала она речь и начала тереть свои костлявые руки.

– Дров нет, еще не пришли рубальщики.

– Пошли еще за ними... Только вот что: с черного двора их не пускать сюда и на ступень! Я ведь знаю, что, по лености, вы их заставите дрова таскать по кельям, так чтобы и не наважились; и я, и мать игуменя так приказали. А за дровами посылать служек, вот, примером, ее, Феклу, Матрону, либо послушниц, тех, что постарше, а не ветрогонок... Вот тут будешь убирать, – обратилась она к девочке, – и приносить, что позволят, только приходить будешь не одна, а со мной или вот с сестрой Иринией... только чтоб и рта тут не раскрывала, слышишь?

– Слышу, – ответила робко девочка.

– Ну, так я пойду распоряжусь... а ты тут останься, пока она приберет... Ох, удушье! – закашлялась гулко старуха и, поддерживаемая сестрой Иринией, стала спускаться узким и крутым трапом.

Как только скрылись монахини, оставшаяся девочка, заглянув в люк, улыбнулась узнице и многозначительно подмигнула ей.

Словно молния осветила затворницу; из груди ее вырвался сдержанный крик, и она, подбежав к девочке, спросила задышающимся шепотом:

– Кто ты, на Бога?

– Верный друг... Молчи... ясновельможная... Жди вестей!

Когда возвратилась монахиня, то служка усердно подметала келью, не разгибая спины.



## XX

Как-то раз пришли на черный двор соседние поселяне и стали рубить дрова; среди них оказался и знакомый нам нищий: он сдержал слово, данное приютившему его хозяину, и пришел-таки в монастырь заменить его. Нищий работал за троих; секира его звонко стучала в морозном воздухе, и щепы из-под нее летели во все стороны. Но в то время, когда руки его подымались и опускались, глаза зорко следили за всеми, входившими в черный двор; он пробовал проникнуть взором за ворота, но они быстро затворялись, и к ним не было доступа. Приходили за дровами монастырские служки, и нищий пробовал кое о чем расспросить их. Одно только он узнал, что носить дрова будут лишь они, две послушницы, да еще новенькая девочка, что стала служкой. Нищий едва скрыл охватившее его при этом волнение и для отвода глаз начал роптать на монашеские порядки.

– Не женская это работа таскать дрова, – жалел он служек, – о, если бы позволила ее найпревелебнейшая мосць, то мы вмиг поразнесли бы эти дрова куда требуется.

Служки благодарили его за теплое слово и, изгибаясь под непосильной тяжестью, уходили неспешно.

Минул один день и другой; приходили и служки, и прислужницы, но девочка не являлась; передавали, что преподобная тетка Агафоклия больна, при смерти, и не встает уже с постели и что девочка поэтому при ней неотлучно. На третий день все дрова были нарублены, призванные поселяне стали расходиться по домам, нищий был в отчаянии и думал уже запросить мать экономку, не найдется ли здесь других каких-либо работ, но ему неудобно было объявить свою личность, так как он и без того попал сюда воровски...

Ударил колокол, плавно, торжественно и грустно раздались в чутком воздухе размеренные удары. Все закрестились. Нищий складывал медленно последние дрова, как вдруг за спиной его раздался знакомый молодой голос. Нищий оглянулся – вблизи стояла какая-то девочка, в послушнической ряске, и, не оборачиваясь к нему, усердно набирала дрова.

– Не смотри на меня, дядько, заметят, – прошептала она.

– Насилу дождался, – буркнул и нищий под нос, глядя в сторону и роняя полено. – Ну, что известно?

– Дозналась, видела, передала, что будешь.

– Ха! Уже привык по – бабы и говорить!.. Молодец!

– Только тут я больше не останусь, сбегу, хоть повесь меня. Лучше сразу смерть, чем ежедневные страхи за шкуру. Вот преподобная мать Агафоклия померла, ее хоронить будут, и я утек.

– Стой, любый... может, как раз в это время мне удалось бы пробраться...

– И не думай, дядьку, мужского пола не допустят туда, хоть бы сгорел дотла монастырь, – промолвил поводырь нищего, поднимая с натугой вязку дров.

– Знаю... что-либо придумаешь... Слушай, – приблизился к нему нищий, будто помочь вскинуть вязку на плечи, – на похоронах я с тобой свижусь, и коли не придумаю ничего, то, значит, на то воля Божья, и мы уйдем, а коли придумаю, то ты денек еще перебудь... Там условимся.

– Разве денек, а больше – хоть зарежь! – и он, шатаясь под тяжестью, торопливо ушел со двора.

Монастырское кладбище помещалось за его зубчатой оградой, как раз против браны; оно обнесено было глубоким рвом и тремя сторонами врезывалось в лес, только четвертая, более узкая сторона, была обращена к монастырскому муру и снабжена дубовыми крепкими воротами, вроде браны. Высокие насыпи на рвах были засажены сплошь колючим, густым

и непролазным кустарником, люцией, составлявшим неприступный оплот для мирного сна потрудившихся душевно спасенниц: огражденные от суетного мира, убаюканные шепотом и тихим гомоном леса, здесь они спали спокойно, в надежде дожидаться радостного дня пробуждения.

По случаю смерти монахини рабочих оставили еще в монастыре, они должны были выкопать могилу для новопреставленной сестры Агафоклии и вообще оказать помощь при похоронах. Кроме этих рабочих, к печальному и торжественному обряду сходились еще и все поселяне окрестных хуторов и селений поглазеть на любопытное зрелище и потрапезовать на заупокойных обедах: монастырь в таких случаях не жалел средств и старался блеснуть перед миром своею щедростью и гостеприимством. На третий день были похороны. Огромная толпа сошедшегося люда стояла стеной между брамой и воротами кладбища; в монастырский двор и церковь, где стоял гроб и служилась заупокойная обедня, посторонние лица не допускались, да и на самом кладбище пока ворота были заперты и лишь вокруг свежей вырытой ямы, облокачась на лопаты, стояли монастырские рабочие. Толпа между брамою и воротами волновалась, росла и заливала проход, оставленный для процессии, какой-то дьячок в подряснике суетился, бегал и упрашивал любопытных не напирать, а стоять шпалерами. Наконец загудел низкими тонами большой колокол, к его стонам присоединились минорные голоса прерывистого перезвона, брама отворила свою пасть, и из нее вынырнуло торжественно мрачное шествие: траурные хоругви, траурные ризы священников, темно – зеленые восковые свечи, черный, качающийся на пышных носилках гроб, и за ним черная волна поникших головами монахинь... Звуки печального пения то раздавались гармоническими аккордами, то таяли в туманном воздухе морозного дня, но ни одного рыдания и за гробом. Толпа разделилась на две половины. Процессия медленно двинулась через дорогу к кладбищу; как только последние ряды ее прошли в кладбищенские ворота, вся толпа хлынула вслед за ними и затопила все пространство его до межевых рвов. Черницам уже невозможно было держаться особняком, в строгом порядке, их разбил на отдельные группы натиск толпы.

Нашему нищему не трудно было найти девочку – служку и отбиться с ней несколько в сторону; среди волнующейся, дробящейся толпы, среди нависшего белой густой пеленой тумана их никто не мог бы заметить.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.